

Charles H. Snow

# Чарльз Перси Сноу Возвращения домой

*HarryFan*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=158778](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158778)*

*Чарльз П.Сноу. «Пора надежд. Возвращения домой»: Литература  
артистикэ; Кишинев; 1977*

## Аннотация

Книгу виднейшего английского писателя, ученого, гуманиста Чарльза Перси Сноу составили два романа: «Пора надежд» и «Возвращения домой», вошедшие в цикл романов, принеший Сноу большую известность.

Действие всех романов охватывает более половины нашего столетия – от начала 1910-х годов до конца 1960-х.

Сноу своими произведениями создал значительную социально-психологическую эпопею, где в художественной форме дано осмысление своей эпохи и ее людей.

# Содержание

Часть первая	4
1. Свет в окне виден с улицы	4
2. Два способа делать дело	15
3. Витиеватый разговор	31
4. Пожатие руки в жаркий вечер	44
5. Несбыточная мечта	58
6. Хмурый взгляд при свете ночника	69
7. Робинсон торжествует	78
8. «Ты сделал все, что мог»	88
9. Прощание утром	97
10. В комнате нет письма	103
11. Тоска в пустом доме	112
12. Запах лекарственного табака	119
13. Нетронутая постель	129
Часть вторая	131
14. Беру почитать книгу	131
Конец ознакомительного фрагмента.	135

# **Чарльз Перси Сноу** **ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ**

## **Часть первая** **ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ**

### **1. Свет в окне виден с улицы**

Угасал солнечный, подернутый дымкой февральский день. Я шел по набережной домой к жене. Река казалась белой под лучами солнца, а струйка дыма над трубой буксира напоминала синий дымок сигареты. На дальнем берегу сквозь туман поблескивали отражения оконных стекол, а внизу, ближе к Челси, куда я направлялся, дым был такой густой, что застилал очертания высоких труб на горизонте.

Был один из вторников тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Я, по обыкновению, не был дома с четверга, потому что несколько дней в неделю приходилось проводить в Кембридже. И, как всегда, возвращаясь домой после отсутствия, даже такого короткого, я испытывал смутное чувство тревоги и какую-то внутреннюю настороженность. С тех пор как я себя помню, а в памяти моей всплывают дни самого

раннего детства, у меня вечно было тревожно на душе; когда я шел домой, я со страхом думал о том, что меня ожидает.

Впрочем, все это было не очень серьезно – просто одно из тех беспричинных волнений, с какими приходится мириться в жизни, и только. Даже теперь, когда подчас выясняется, что волнение мое не столь уж беспричинно, я не особенно расстраиваюсь – привык. И потому по вторникам, шагая по набережной из Милбэнка домой в Челси, я всегда испытывал беспокойство, но о причине его старался не думать.

И все-таки в тот день, идя по Чейн-уок, я поймал себя на том, что напряженно вглядываюсь вдаль, хотя дома нашего еще не было видно. Наконец я увидел его. Посторонний человек мог бы мне позавидовать – дом казался таким мирным и безмятежным. В окнах гостиной уже горел свет, хотя в соседних домах огней еще не зажигали; занавеси не были задернуты, и с улицы, от которой дом был отделен палисадником, можно было видеть высокие стены с белыми панелями. Будь я посторонним, этот свет в окне над садом показался бы мне символом домашнего уюта и покоя.

Я шагал по дорожке и не знал, какой застану ее.

Ярко освещенный холл сверкал чистотой – типичный холл дома, где живет бездетная пара. Никто меня не окликнул. Я быстро прошел в гостиную. Здесь меня тоже ослепил яркий свет, и в блеске его я увидел мою жену, спокойную, сосредоточенную, целиком поглощенную своим занятием. Она сидела у маленького столика, поодаль от камина, и глядела на

шахматную доску. На доске было всего несколько фигур. Это были индийские шахматы, размером гораздо больше обычных, – подчиняясь минутной прихоти, Шейла купила их год назад. Судя по всему, она не разбирала партию, а решала какой-то этюд. Она подняла глаза.

– Ты пришел? Здравствуй! – сказала она. – Ну-ка помоги мне.

Я вздохнул с облегчением и почувствовал себя совершенно счастливым, как это случалось, когда я заставлял ее спокойной. На этот раз мой опасения не оправдались. Я сел на стул против нее и, когда она, склонив голову, снова уставилась на высокие фигуры, взглянул на ее лоб, нахмуренный не от снедавшей ее тревоги, как бывало часто, а просто от напряженной работы мысли.

– Никак не соображу, – сказала она и улыбнулась мне своими большими, полными света серыми глазами.

Ей было тридцать три года, всего на несколько месяцев меньше, чем мне. Но выглядела она гораздо старше. Когда я полюбил ее четырнадцать лет назад, мужчины считали ее красивой. С тех пор лицо ее изменилось, хотя я, наблюдавший его больше всех, вероятно, меньше всех замечал эту перемену.

Морщинки, которые были видны у нее на лбу и под глазами еще тогда, когда она была девушкой, теперь стали глубокими. Красивый, резко очерченный нос заострился, все лицо, отмеченное печатью горестей, стало жестче и менее по-

движно. Только огромные глаза оставались прежними: они не разделяли грусти, запечатленной на ее лице, хотя обычно большие глаза бывают печальными, как у лемура. Даже в самые тяжелые Минуты они оставались живыми, пронизательными, спокойными, и тело ее, в отличие от исчерченного морщинами, потухшего лица, было сильным, немного тяжелым телом крупной здоровой и все еще молодой женщины.

Глядя на нее поверх шахматных фигур, я не видел в ней этих перемен, ибо меня заботило только состояние ее духа. Я замечал малейшую перемену в выражении ее лица, но не видел того, что было очевидно для других. Стараясь поддерживать в ней душевное равновесие час за часом, день за днем, я утратил способность замечать, поправляется ли она, или ей становится хуже. Я знал лишь, что нынче вечером она оживлена, не отягчена заботой и что, следовательно, сегодня беспокоиться не о чем. О завтрашнем же дне я не думал.

Я любил ее всю свою молодость, и, хотя несчастье, обрушившееся на нас, изменило мое чувство к ней, я все еще ее любил. Когда мы познакомились, мне казалось, что счастье на ее стороне: она была красива, умна, обеспечена, а главное – она меня не любила, я же был страстно в нее влюблен. Это давало ей неограниченную власть надо мною, а я не имел над ней никакой; это означало, что она может мучить меня годами, может быть жестока ко мне, как бывают жестоки люди, совершенно равнодушные. Это означало также, хоть тогда я еще этого не понимал, что из нас двоих больше заслужива-

ет жалости она. Потому что, как потом выяснилось, она не могла полюбить не только меня, но и никого другого. Она жаждала любви, старалась найти человека, которого могла бы полюбить, искала помощи у психиатров и других врачей. В конце концов, убедившись в бесплодности своих попыток, она вспомнила обо мне, все еще любившем ее, и позволила жениться на ней.

Конечно, из этого не могло получиться ничего хорошего. Иногда мне казалось, что, будь у нас дети – а нам обоим очень этого хотелось, – было бы немного лучше. Но мы оставались одни.

– Я должна найти решение, – сказала она, глядя на доску дальнозоркими глазами.

Двумя пальцами она тронула фигурку – слона с балдахин-ом на спине, в европейских шахматах его заменяла бы тура. По давней тревожной привычке взгляд мой остановился не на ее сильных, с широкими кончиками пальцев, а на ногтях. И второй раз за этот вечер я почувствовал облегчение. Ногти ее не были покрыты лаком, но зато подпилены и чисты. Бывали дни, когда отчаяние доводило ее до полного безразличия ко всему окружающему, и она переставала следить за собой. Это всегда меня пугало, но вот уже несколько лет такого не случалось. Обычно она одевалась очень неплохо, и, когда шла по набережной мимо баров или по Кингс-роуд, люди видели женщину с упругой походкой, горделивой осанкой и красивым, умело подкрашенным лицом.



– Начни снова и разыграй вариант до конца, – посоветовал я.

– Покажи, как, – попросила Шейла.

Это было очень похоже на нее – попросить меня объяснить ей теорию решения шахматных задач и в то же время не спросить ни слова о моих делах, хотя мы не виделись целых четыре дня. Ее совершенно не интересовали ни Кембридж, ни моя лондонская работа. Еще до нашей женитьбы, с тех пор как она потеряла надежду быть когда-нибудь счастливой, она как-то замкнулась в себе. По правде говоря, в заботах о ней я испортил свою служебную, карьеру.

Когда я женился, мне казалось, что я знаю, как все это обернется. Я буду бережно охранять ее покой – мне Приходилось и прежде видеть приступы шизофрении. Я понимал, что жизненные заботы, незначительные для всех нас, для нее становились подлинным испытанием, что какая-нибудь пустяковая обязанность, вроде званого обеда, могла взвинтить ее до предела. Но меня переполняла страстная любовь к ней, годами сдерживаемая физическая страсть, а может быть, и нечто большее. Поэтому я решился на женитьбу и очень скоро убедился, как в этом убеждались и многие другие до меня, что повседневная жизнь совсем не похожа на ту, которую способно рисовать наше воображение.

Я делал для нее все, что мог. Вряд ли это ей помогало, зато у меня почти не оставалось сил ни на что другое. Когда мы поженились, я только-только стал адвокатом и мне пред-

сказывали неплохое будущее. Но я мог продолжать борьбу за карьеру, только если бы расстался с Шейлой. Поэтому я нашел работу, не требовавшую большой затраты энергии, – стал юрисконсультом в фирме Поля Лафкина и одновременно числился в штате юридического факультета Кембриджа, где мне и приходилось бывать три-четыре дня в неделю. Когда состояние Шейлы бывало особенно тяжелым и она часами просиживала у патефона, я стремился убежать из дому, хоть это и было малодушием.

Но в тот февральский вечер мы сидели друг против друга за шахматным столиком в ярко освещенной гостиной, и я ни о чем этом не думал. С меня было достаточно того, что она казалась спокойной. Это давало мне нечто вроде морального облегчения – так иногда бывает в самых несчастливых браках, хотя человеку постороннему трудно это понять. Привычка была настолько сильна, что я забывал о неудовлетворенном честолюбии, о минутных разочарованиях, о близкой разлуке – обо всем, что происходило в моей личной жизни с ней; по привычке, я сидел возле нее, смотрел на ее ноги, вглядывался в ее лицо – нет ли тика, похожего на вымученную улыбку, который появлялся неизменно, когда ею овладевало нервное напряжение.

– Я сегодня видела Робинсона, – вдруг сказала она.

– Вот как?

– Мне показалось, что он искал меня.

– Очень может быть, – заметил я.

– Мы выпили; Он был в ударе.

Когда-то одного этого было бы довольно, чтобы возбудить во мне ревность. Теперь нет. Я был рад всему, что могло вызвать в ней интерес или надежду. У нее иногда бывали вспышки энергии, которые помогали ей забыть: раз или два – шли тридцатые годы – она принимала участие в политической деятельности, но чаще просто растрачивала свою энергию на то, чтобы помогать обиженным судьбой людям, с которыми случайно знакомилась. Как-то раз я узнал, что она одолжила деньги владельцу маленького кафе в переулке – она там бывала без меня. Она была готова явиться по первому зову провинившегося помощника приходского священника, насмерть перепуганного тем, что его будут судить. Она совершенно не интересовалась моими делами, делами своих родственников и старых друзей, но способна была вся уйти в заботы людей едва знакомых. Ради них она забывала себя, с ними в ней пробуждалась надежда, и она вновь становилась той молодой женщиной, которую я когда-то полюбил.

– Он как-то очень непринужденно стал рассказывать, что у него опять есть деньги, – продолжала Шейла.

– Времени он даром не теряет, правда?

– Я подумала, не могу ли я чем-нибудь ему помочь? – сказала она.

– Многие уже пытались, ты же знаешь, – ответил я.

Это была правда. Я только один раз видел Р.-С.Робинсона. Ему было лет шестьдесят, до 1914 года его знали как

издателя одного прогрессивного ежемесячника. И с тех пор он оставался при литературе, – писал рассказы, выходившие за подписью других людей, выпускал не приносящие дохода журналы, терял деньги, наживал врагов, вечно вынашивал новые проекты. Совсем недавно ему удалось познакомиться с Шейлой. Его отчаянные попытки завязать это знакомство свидетельствовали красноречивее всяких слов, что он наслышан о ее деньгах.

– Да, многие пытались, – подтвердила она. – Тем хуже для них.

И она одарила меня откровенно насмешливой улыбкой. Она никогда не питала иллюзий насчет своих «несчастненьких».

– Но это для него слабое утешение, не правда ли? – добавила она.

– Однако если у других ничего не вышло, – сказал я, припомнив какие-то слухи, – то тебе тоже не на что надеяться.

– Ты слышал о нем что-нибудь плохое?

– Разумеется.

– Должно быть, – сказала Шейла, – он тоже слышал обо мне кое-что плохое.

Она засмеялась странным дразнящим смехом, он звучал почти вызывающе, – верный признак того, что она действительно на что-то надеялась. Давно уже не слышал я такого смеха.

– А может быть, и о тебе, – добавила она.

Я улыбнулся ей в ответ. Я не мог ее огорчить. Ее хорошее настроение все еще способно было заразить и меня. Однако я сказал:

– Имей в виду, он разорил многих своих доброжелателей. Тут что-то не так.

– Конечно, что-то не так, – согласилась она. – А иначе вряд ли я бы ему понадобилась. – Она снова улыбнулась. – Ведь именно тем, у кого что-то не так, и нужны друзья. Я думала, теперь даже ты это понял.

Она встала, подошла к камину и, схватившись за доску, слегка выгнулась назад.

– У нас ведь с деньгами неплохо? – спросила она.

На этот раз обычно откровенная Шейла хитрила. Она знала наше материальное положение не хуже меня. Иначе она не была бы дочерью своего отца. Она готова была швырять деньги на ветер и тем не менее обладала отличной деловой сметкой. Она превосходно знала, какая сумма не будет для нас обременительной. При моих заработках и ее доходе мы имели в год больше двух тысяч и неплохо жили на эти деньги, даже при том, что содержали просторный дом и экономку.

– Да, – кивнул я, – деньги у нас есть.

– Тогда решено.

– Не пришлось бы только тебе разочароваться, – сказал я.

– Я не ожидаю слишком многого.

– Лучше совсем ничего не ожидать, – сказал я.

– Но ведь он человек способный? – воскликнула Шейла; лицо ее смягчилось и стало менее измученным.

– Пожалуй, да, – ответил я.

– Быть может, мне удастся поставить его на ноги, – сказала Шейла и продолжала задумчиво, но с некоторым вызовом: – Это уже было бы кое-что. Раз мне не удалось сделать ничего другого, пусть будет хоть это «кое-что», правда?

## 2. Два способа делать дело

Если Шейле приходило в голову кому-нибудь помочь, она действовала с такой же быстротой, с какой транжирит деньги мошенник, получивший их обманным путем. Кажется, на той же неделе, возможно, даже на следующий день, Р.-С.Робинсон явился к нам обедать. Я, разумеется, пришел прямо из конторы Лафкина; еще долго потом это совпадение казалось мне иронией судьбы.

Весь этот день я провел в кабинете Лафкина. Он попросил меня прийти пораньше утром и заставил ждать часа два, что, впрочем, случалось нередко. Я ждал его в приемной, устланной таким толстым ковром, что шагов совсем не было слышно; со мной вместе ждал один из его приближенных, человек примерно моих лет, по имени Гилберт Кук, которого я хорошо знал. Он был кем-то вроде личного помощника Лафкина, по должности – референтом по вопросам экспорта, так же как я числился референтом по юридическим вопросам. На деле же Лафкин использовал нас обоих для особых поручений. Фирма Лафкина считалась не очень крупной среди нефтяных компаний, но это понятие было весьма относительным, ибо в 1938 году, на четвертый год пребывания Лафкина на посту ее директора, оборот фирмы составлял уже тридцать миллионов фунтов стерлингов. У него был целый штат юристов, и когда он предложил мне должность

юрисконсульта, ему вовсе не нужен был еще один законник; просто ему нравилось подбирать молодых людей, вроде меня и Кука, держать их при себе и время от времени выслушивать их мнение.

— Опаздывает, — указывая на дверь кабинета, заметил Гилберт Кук, словно имел в виду поезд.

Кук был крупный, мускулистый мужчина с румяным лицом кутилы и выразительными карими глазами. Он производил впечатление человека доброго, непосредственного и сразу же располагал к себе. И разговаривал он со мной так, будто мы были гораздо ближе друг другу, чем на самом деле.

— Как сейчас Шейла? — спросил он меня, словно знал всю историю.

— Хорошо, — коротко ответил я, но он не унялся.

— Вы уверены, что ее лечит именно тот врач, который ей нужен? — спросил он.

Я сказал, что она уже некоторое время вообще не ходит к врачам.

— А кто ее лечил прежде?

Он был назойлив, но эта назойливость проистекала только от доброты; с трудом верилось, что он приходил к нам всего два раза. Он нередко водил меня в свой клуб, мы болтали о политике, спорте и работе, но откровенности в наших разговорах не было.

Наконец нас пустили в кабинет Лафкина. В этих апартаментах, когда, проходишь из одной комнаты в другую, воз-



дух теплым дыханием ласкает кожу.

Лафкин, выпрямившись, сидел в своем жестком кресле. Он едва кивнул нам. Он вообще был не слишком внимателен к другим, но держал себя просто и без всякой позы. Он был бесцеремонен в отношениях с людьми, ибо трудно сходилась с ними, но, как ни странно, отношения эти доставляли ему удовольствие.

– Вы знакомы с делом? – спросил он.

Да, мы оба ознакомились с ним.

– Как мне поступить?

Вопрос звучал так, будто мы должны были все решить за десять минут. В действительности же на это ушел весь день, и все, что мы говорили, совсем не пригодилось. Лафкин, прямой, костлявый, с худощавым лицом, сидел в своем кресле, не замечая времени. Он был всего на десять лет старше нас с Куком; кожа у него была смуглая, и его враги утверждали, что он похож на еврея, да и имя у него еврейское, хотя на самом деле отец его был диссидентским священником в Восточной Англии.

Дело, которое нам предстояло решить, было не такое уж сложное. Лафкина спросили, не хочет ли он купить еще одно предприятие по сбыту нефти. Как быть? Во время разговора – он длился нескончаемые, прокуренные, насыщенные теплом центрального отопления, скучные часы – выяснились две вещи: во-первых, ни мое мнение, ни мнение Кука в этом вопросе не представляло значительной ценности, во всяком

случае не больше, чем мнение любого мало-мальски сообразительного сотрудника фирмы; во-вторых, я был уверен, что, независимо ни от чьих мнений, Лафкин уже решил купить предприятие.

Тем не менее весь этот день Кук вел себя как заправский спорщик. Он спорил и горячился, и это казалось странным – средний служащий не ведет себя так в присутствии магната. Характер спора был резким и в целом объективным, а доводы отличались прозаичностью. Кук был гораздо более красноречив, чем мы с Лафкином. Он говорил и говорил, но ничуть не пытался льстить боссу; слушая его, я лишний раз убедился, что он Лафкину ближе, чем любой другой из служащих фирмы, и задумался – почему бы это.

У большинства из тех, кого нанимал Лафкин, за плечами был хоть какой-то профессиональный опыт; Куку же нечем было похвастать, кроме связей да собственной весьма любопытной и сильной личности.

В середине дня, после того как мы позавтракали сандвичами и кофе, Кук внезапно переменял тактику. Уставившись на Лафкина, он сказал:

– Боюсь, не выдержите.

– Возможно.

Лафкин, казалось, не прочь был обсудить и эту мысль.

– Я хочу сказать, что наступает время, когда даже такая империя, как ваша, – их глаза встретились, и Лафкин чуть улыбнулся, – должна уметь ретироваться.

– Ваше мнение, Элиот?

Я сказал, что фирме не хватает людей, что способных работников мало и что, прежде чем покупать что-то новое, надо бы найти еще с десяток сотрудников, способных управлять отделениями фирмы.

– Согласен, – ответил Лафкин.

С полчаса он обсуждал с нами подробности, а затем спросил:

– Успокоились, Кук?

– Вам все кажется просто, но это не так.

– Что кажется просто?

– Откусить больше, чем можно проглотить.

Несмотря на кажущееся равнодушие Лафкина и внешнюю его незаинтересованность, слова эти доставили ему некоторое удовольствие. Но он умел не потакать себе, и мы снова вернулись к цифрам.

Небо за окнами кабинета потемнело, в комнате, казалось, стало еще жарче, а ничего до сих пор не было решено. За весь день ни одной свежей мысли. Никому бы и в голову не пришло (хоть это была истинная правда), что Лафкин – человек, наделенный необыкновенным воображением, что этот бесконечный разговор – его способ подхода к делу и что Гилберт Кук чуть не лопается от гордости: ему посчастливилось участвовать в таком важном деле!

Когда мы наконец расстались, было уже около семи, а ничего так и не было решено. Мы разобрали и разложили по

полочкам все, что знали о новом предприятии, кроме покупной цены, о которой Лафкин упомянул только один раз, да и то вскользь. «Для перспективного дела всегда найдутся деньги», – небрежно добавил он и перешел к другим вопросам. И, однако, именно в этой покупной цене была загвоздка всего нашего долгого разговора, о ней я думал и в холодном такси по дороге в Челси, ибо речь шла о кругленькой сумме, не меньше миллиона фунтов стерлингов.

А по приезде домой я столкнулся с совершенно иным способом ведения дела. Р.-С.Робинсон был уже в гостиной; немного грузный, он стоял возле камина; мягкие, отливающие серебром волосы делали почтенным его лицо с младенчески гладкой кожей. Вид у него был довольный и невозмутимый. Его острые глаза, прикрытые стеклами очков, перебегали с Шейлы на меня весело и подозрительно. Он совсем не скрывал, что нуждается в поддержке Шейлы, и надеялся вытянуть из нее сколько сможет, хорошо бы тысячу фунтов.

– Я пришел сюда не для того, чтобы слушать ваши-умные речи, – сказал он ей. Его певучий голос звучал вдохновенно и приятно ласкал слух.

– Мне незачем утаивать истинную цель моего визита, не так ли? – спросил Робинсон. – Предупреждаю вас, меня опасно пускать в дом.

Тысяча фунтов была пределом его мечтаний, он не надеялся получить так много, хотя и не постеснялся назвать эту сумму. Он принялся обхаживать Шейлу, а заодно на всякий

случай и меня, со всем искусством, на какое был способен и каким так гордился.

Странно, думал я за рюмкой перед обедом, пятнадцать – шестнадцать лет назад он был частью нашей юности. Это он создал на свой страх и риск небольшой художественный журнал, который в дни «Инглиш Ревью» печатал имажинистов, этих бунтовщиков, порожденных первой мировой войной. Это он опубликовал перевод стихов Леопарди под нелепым заглавием «Одинок под луной». И мы с Шейлой прочитали эти стихи как раз перед тем, как встретились, когда мы еще переживали возраст романтической грусти, и нам они показались откровением.

С тех пор он терпел неудачу во всем, за что бы ни брался. Он пробовал добыть у Шейлы деньги на создание новой издательской фирмы, но сам не мог вложить туда и пяти фунтов. И все же мы не могли забыть прошлое, а он не хотел его забыть, и поэтому, когда он стоял между нами на маленьком коврик перед нашим собственным камином, не Шейла и не я, а он был хозяином положения.

– Я как раз говорил миссис Элиот, что ей надо написать книгу, – сообщил он мне, как только я вошел в гостиную.

Шейла покачала головой.

– Уверен, что вы смогли бы, – сказал он ей и принялся за меня: – Только что заметил, сэр, что у вас руки художника.

Он не терял времени и не гнушался даже грубой лестью, но Шейла, которая обычно страшно смущалась от малейшей

похвалы, его слушала спокойно. Он не называл нас по именам, как это делали наши знакомые из Челси, люди нашего возраста, а продолжал прямо в глаза величать меня «сэром», а Шейлу – «миссис Элиот», даже в таком, казалось бы, непринужденном разговоре.

Итак, стоя между нами, он источал покровительство; он держался с большим достоинством и присутствием духа, даже величаво, хотя ростом был на несколько сантиметров ниже Шейлы, высокой для женщины, а мне не доставал до плеча. С покатыми плечами, пухлый, он часто приглаживал свою серебряную гриву.

Он явился к нам в смокинге, когда-то элегантном, а теперь вышедшем из моды, в то время как мы с Шейлой даже не переоделись к обеду. И именно Робинсон принялся нас утешать.

– Всегда так делайте, – сказал он, когда мы вошли в столовую.

Я спросил, как именно.

– Всегда ставьте людей в невыгодное положение. Когда просят не одеваться, не обращайтесь внимания. Это дает моральное преимущество. Видите, – шепнул он Шейле, сидя по правую руку от нее, – сегодня моральное преимущество у меня.

В столовой он похвалил Шейлу за то, что мы могли разговаривать без помехи, так как еда подавалась в окошечко.

– Поэтому мне незачем притворяться, не так ли? – сказал

он и, принявшись за еду, стал рассказывать истории о других обедах из своего легендарного прошлого, когда он пытался добыть деньги для издания книг, книг, напомнил он нам, о которых мы все потом слышали. – Вам, наверное, говорили, что в те дни у меня водились деньги? – Весело и ехидно хмыкнув, он поднял глаза на Шейлу. – Не верьте. Люди все истолковывают превратно. – Опять начались рассказы о многочисленных интригах, о получении обещаний от А по совету Б и В, от Б по совету А и В... – Самое важное то, что приходится играть не по правилам, – объяснил он Шейле. И опять бесконечные рассказы о преодолении трудностей с таким умением и изобретательностью, что мои коллеги, с которыми я беседовал днем, казались дельцами второго сорта.

Слушая его, я все время следил за Шейлой, – так было все годы нашего брака. Она повернулась к нему, и на фоне стены отчетливо вырисовывались резкие очертания ее носа и губ, с лица исчезли напряженность и бросавшаяся в глаза неподвижность, на нем не было и следа тика. Она, пожалуй, не проявляла знакомой мне спокойной непринужденности, которая была ей свойственна в обществе ее подопечных, но ведь среди них еще ни разу не было такого жизнерадостного человека. Мне то и дело приходилось напоминать самому себе, что Робинсон, по его собственному признанию, очень нуждается, так как живет вместе с больной женой всего на сто пятьдесят фунтов в год. У Шейлы был такой вид, словно она всему верит, а это с ней бывало редко.

На одно мгновение, просто по укоренившейся привычке, у меня мелькнула мысль: неужели он ей нравится? Возможно, такие холодные натуры, как она, меньше других заботятся о том, насколько неуклюжим или смешным выглядит объект их внимания в глазах остальных людей. Оказывая добрую услугу этому шестидесятилетнему человеку, которого другие считали эксцентричным, Шейла, быть может, познала благословенное чувство полового влечения. Во всяком случае, она покраснела, и добрый час я был свободен от постоянной своей ответственности: ей удалось забыться.

Робинсон, столь же естественный за едой, как и в своей политике, попросил еще мяса и продолжал разглагольствовать о недавних попытках добыть деньги. Некий преуспевающий писатель, знавший его в лучшие дни, дал ему рекомендательное письмо к одной страховой компании. Тут Робинсон на минуту отвлекся от темы, и его слоновьи глазки заблестели; он принялся рассказывать нам скандальный анекдот об этом преуспевающем писателе, молодом актере и какой-то стареющей женщине и при этом неотрывно рассматривал Шейлу, пытаясь проникнуть в наши с ней отношения.

Рассказав анекдот, но не получив отклика, он вернулся к истории о страховой компании. Его пригласили в Сити, угостили кофе со скверным печеньем, а потом сказали, что они вложили миллионы в промышленные концерны.

– Подумайте только, – они толкуют о миллионах мне! – воскликнул он.



– Они не хотели вас обидеть, – заметил я.

– Нужно быть более чутким, – сказал Робинсон. – Говорили о миллионах, когда мне нужно было всего девятьсот фунтов.

Я был почти уверен, что он назвал не тысячу фунтов для чисто психологического эффекта, – так обычно поступали в магазинах, где моя мать покупала нам вещи: не говорили «пять шиллингов», а всегда «четыре шиллинга, одиннадцать пенсов и три фартинга».

– Более того, – продолжал Робинсон, – они вовсе не собирались дать мне даже эту сумму. Все говорили и говорили про свои миллионы, а когда я перешел к делу, сразу сникли.

– Но хоть что-нибудь они вам предложили? – спросила Шейла.

– Из игры всегда нужно выходить с достоинством, – наставительно изрек Робинсон, и мне пришло в голову, что за эти два часа он высказал больше истин о том, как следует делать дела, чем я слышал от Поля Лафкина за целых четыре года.

– Я сказал: «Людей надо щадить; никогда не рассказывайте о миллионах тем, кто нуждается в деньгах». И ушел, оставив их наедине с собственной совестью. – Он вздохнул. – Да, девятьсот фунтов.

Услышав, как унижение можно обратить против оскорбителей, Шейла впервые за много месяцев громко рассмеялась. Потом она начала задавать вопросы. Девятьсот фунтов – это, конечно, маловато. Правда, он все годы сохранял свою из-

дательскую марку, мог бы выпустить одну-две книги и поручить кому-нибудь их распространение, но что толку? Если он это сделает и все пойдет плохо, то деньги будут уже истрачены и не останется никакой надежды на будущее.

Робинсон не привык к таким лобовым атакам. Он вспыхнул: краска разлилась по щекам, по лбу, вплоть до корней белых волос. Как многие хитроумные люди, он всегда недооценивал окружающих. У него уже сложилось определенное суждение об этой красивой, страдающей нервным расстройством женщине, и он думал, что добыть у нее деньги будет легче легкого. Он сразу отнес ее к категории людей психически неуравновешенных и был удивлен ее неожиданной проницаемостью. Она видела его насквозь, и это его встревожило.

Ведь он ухитрился быть и непозволительно откровенным, и опасно скрытным. Да и вправду ли уж он так беден? Он испытывал на Шейле один из вариантов своего многостороннего подхода. На этот раз он обрабатывал одновременно несколько человек, ни слова не говоря им друг о друге.

– Всегда старайтесь все упрощать, – сказал он, явно рисуясь.

– Но не настолько, чтобы получалась бессмыслица, – заметила Шейла, улыбаясь, но не уступая.

Вскоре она кое-чего от него добилась. Ему нужно, если только удастся собрать, несколько тысяч фунтов. Эта сумма дала бы ему возможность издавать книги, скромно, но

на профессиональном уровне, в течение двух-трех лет. Если ему это не удастся, он хотел бы получить по крайней мере девятьсот фунтов. Даже если бы он смог выпустить под старой маркой всего три книги, имя Р.-С.Робинсона снова бы зазвучало.

– Никогда не знаешь, что может случиться, – сказал он и, словно пуская мыльные пузыри, один за другим преподнес несколько заманчивых проектов. Если он издаст три книги, сказал он, его снова вспомнят; тут он кончил пускать мыльные пузыри и заговорил о книгах, которые будет печатать. Он перестал льстить Шейле и пользоваться другими, по его мнению, безошибочными методами, и мы вдруг убедились, что вкус его остался неиспорченным. Он предпочитал серьезные, солидные, лишенные романтики книги, какие любила Шейла.

– Для них, – сказал он, – я мог бы сделать то, что делал раньше.

– Вам нужны деньги, – заметила Шейла.

– Мне нужно ровно столько, чтобы я мог кого-нибудь прославить, – воскликнул он.

– Вам требуются только деньги? – спросила она.

– Нет. Я хочу, чтобы кто-нибудь, вроде вас, помог рассеять неправильное представление людей обо мне. Видите ли, иногда они считают меня ослом.

На этот раз он не играл. Он сказал это сердито, горячо, обиженно, не пытаясь ее одурачить. Но вскоре опять овладел

собой и сообразил, что может получить ответ в тот же вечер. Он, должно быть, сообразил также, что Шейла на его стороне и не сдаст свои позиции, и под предлогом, что хочет вымыть руки, решил оставить нас наедине.

Когда я, проводив его, вернулся в столовую, — мы все еще сидели за столом, — Шейла сказала лишь:

— Ну?

После обеда мы пили коньяк, и, говоря со мной, она все время легонько подталкивала мизинцем бутылку.

— Ну? — повторила она.

И тогда и потом мне часто казалось, что, если бы я вмешался, она бы меня послушалась. Она все еще верила только мне и больше никому. Правда, она непременно хотела помочь ему; и все же, если бы я предостерег ее еще раз, она бы прислушалась к моим словам. Но я уже решил этого не делать. Она чем-то заинтересовалась, подумал я, и это принесет больше пользы, чем вреда.

— Хочешь рискнуть? — спросил я. — Что ж, попробуй.

— Ты теперь лучшего мнения о нем?

Он поднял ее жизненный тонус, думал я. И тут же сообразил, что он помог и мне. Если ее захватило, значит, и меня тоже.

Я усмехнулся и заметил:

— Должен сказать, я неплохо провел время.

Она кивнула и, помолчав минуту, спросила:

— Он ведь будет не очень благодарен?

– Думаю, что не очень.

– Не старайся смягчить. – Ее серые глаза сверкнули, как прожекторы. – Никто не бывает благодарен, когда о нем заботятся. А он еще меньше других.

Это была одна из тех горьких истин, которые она никогда не скрывала ни от себя, ни от других, одна из тех истин, от которых, по ее мнению, незачем прятаться. Кто еще, подумал я, решился бы признать это в ту самую минуту, когда берет на себя такое рискованное обязательство? Другие могли бы сделать то, что сделала она, но не многие решились бы на это, понимая, что их ждет.

Мы молчали, она все еще смотрела на меня, но постепенно перестала меня видеть, ее взгляд устремился куда-то вдаль.

– Если я этого не сделаю, – сказала она, – сделает кто-нибудь другой. И потом для меня это, наверно, важнее, чем для него.

Вскоре вернулся Робинсон. Когда он открыл дверь, мы молчали, и он решил, что это из-за него. Он старался казаться веселым, но даже его оживленность была слишком натянутой, и, усевшись за стол, он снова попытался пустить в ход свою первоначальную уловку, но на этот раз неуклюже, слишком откровенно.

– Миссис-Элиот, я правда думаю, вам следовало бы написать книгу.

– Бросьте! – ответила она холодным, колючим тоном.

– Я нисколько не шучу.

– Не нужно.

Она произнесла это подчеркнуто категорически, и Робинсон опустил глаза.

Она продолжала, словно говоря о чем-то само собой разумеющемся:

– Я хочу сказать, что решила помочь вам.

Вторично за этот вечер Робинсон покраснел до корней волос. Не поднимая глаз, он Смущенно и невнятно поблагодарил ее, потом достал платок и вытер пот со лба.

– Надеюсь, вы не будете против, сэр, если я выпью еще рюмочку? – обратился он ко мне, стараясь изобразить радостное оживление. – В конце концов нам есть что отпраздновать. – Он постепенно приходил в себя. – В конце концов это же – историческое событие.

### 3. Витиеватый разговор

После того февральского вечера Шейла мало рассказывала мне о своих делах с Робинсоном, но я знал, что она увлечена ими. Когда в начале лета выяснилось, что ее родители собираются приехать в Лондон и на день остановиться у нас, она восприняла это, как досадную помеху.

– Некогда мне с ними возиться, – сказала она. Губы ее дергались.

Я ответил, что теперь нам едва ли удастся их отговорить; мистер Найт хочет посоветоваться с врачом.

– Почему бы не попробовать? Радости их приезд никому не принесет.

– Они очень обидятся, если мы их не примем.

– В свое время они меня тоже достаточно обижали. Во всяком случае, – продолжала она, – на этот раз у меня есть более интересное занятие.

Она написала родителям, что не может их принять. Планы Робинсона, по-видимому, так захватили ее, что ей мучительно трудно было отвлечься, даже чтобы написать письмо. Но миссис Найт оказалась не слишком обидчивой. Она тут же с возмущением ответила, что они все равно приедут, хотя бы потому, что в минувшее рождество Шейла под каким-то предлогом не поехала к ним и мы не виделись полтора года, а отец Шейлы, несмотря на все заботы миссис Найт и его соб-

ственный оптимизм, не будет жить вечно, чтобы дочь могла видеть его, когда ей заблагорассудится; у нее просто нет чувства дочернего долга.

Шейла страшилась их общества и обвиняла их в своей мучительной застенчивости; и все же родительский авторитет был непререкаем. Никто не мог взять над ней верх, но ослушаться матери она была не в силах.

И вот как-то майским утром перед воротами нашего сада остановилось такси, и я увидел из окна второго этажа, как по дорожке медленно зашагали мистер и миссис Найт. Они шли очень медленно, ибо мистер Найт еле-еле передвигал ноги да еще останавливался для отдыха, все время опираясь на руку жены. Миссис Найт была дородная женщина, такая же сильная, как Шейла, но мистер Найт, который ковылял неверной, дрожащей походкой, положив руку на могучее плечо жены, возвышался над ней чуть ли не на целую голову. Его живот начинался где-то на середине груди, чуть ниже высокого воротника. Он двигался, покачиваясь, похожий на громадного раненого солдата, которого санитар уводит с поля битвы.

Я вышел им навстречу, а Шейла осталась у дверей.

– Доброе утро, Льюис, – еле слышно сказал мистер Найт.

– Не разговаривай, пока мы не войдем в дом, – распорядилась миссис Найт.

– Мне очень неловко, что я притащил к вам свои немощи, – прошептал мистер Найт.



– Побереги силы, дорогой, и помолчи, – снова распорядилась миссис Найт.

В гостиной мистера Найта усадили в кресло, и он закрыл глаза. Утро было теплое, и сквозь приоткрытое окно долетало ласковое дыхание ветерка.

– Тебе не дует, дорогой? – спросила миссис Найт, взглянув на меня с упреком.

– Чуть-чуть, может быть, – донесся шепот из кресла. – Чуть-чуть.

Миссис Найт поспешно захлопнула окно. Она держала себя так, будто была одержима только одной идеей: спасти мужа от смерти.

– Как вы себя чувствуете? – наклонясь к креслу, спросил я.

– Как видите, – донесся почти беззвучный ответ.

– Что говорят врачи?

– Они мало смыслят, Льюис, очень мало.

– Пока нам удастся избегать болей, – заявила миссис Найт.

– Я сплю день и ночь, – выдохнул мистер Найт. – День и ночь.

И снова его умное, изможденное лицо приняло свое обычное спокойное выражение. Потом он прошептал:

– Шейла! Шейла! Я еще не видел мою дочь!

Когда она приблизилась к нему, он, словно невероятным усилием, повернул голову, подставив ей щеку для поцелуя. Шейла остановилась над ним, напряженная, бледная как по-

лотно. На мгновение мне показалось, что она не может заставить себя поцеловать отца. Затем она нагнулась, поцеловала воздух где-то возле его щеки и отошла к окну.

Ее матери это, наверно, показалось противоестественным, но ведь Шейла считала, что отец притворяется, и ей было противно. С детства он помнился ей крайне мнительным, вечно разыгрывающим трагедии из-за своего здоровья, хотя, конечно, в меньшей степени, чем сейчас, и она не верила, что он действительно болен. В глубине души ей хотелось уважать его, она считала, что он зря растратил свои способности, потому что всегда был слишком горд и честолюбив. Все, что ему удалось сделать, — это жениться на женщине с деньгами, ибо брак этот был выгоден не здоровенной курносой миссис Найт, а ее сверхпроницательному эгоистичному мужу. Шейла не могла отказаться от последних крох уважения к нему, и при виде его притворства ее чуткость, здравый смысл и даже юмор покинули ее.

За столом она не могла заставить себя принять участие в общей беседе. Я сидел как на иголках, и мистер Найт хитрым и острым взором исподтишка следил за нами. У него было на это время, потому что миссис Найт позволила ему съесть всего лишь ломтик холодной ветчины. Ему пришлось сделать-над собой усилие, чтобы подчиниться, ибо поесть он любил. На этот раз в его ипохондрии, видно, было что-то искреннее: он отказался бы даже от еды, если бы это могло уменьшить его страх перед смертью. Он ел свой кусок вет-

чины без всякого удовольствия, а глаза его из-под тяжелых век украдкой оглядывали то дочь, то меня.

Из нас четверых только у миссис Найт после еды беспокойства не прибавилось. Мы сидели в гостиной, глядя из окна на сад, выходящий к реке, и миссис Найт чувствовала себя отлично. Она, правда, была недовольна настроением дочери, но это обстоятельство не очень ее огорчало, – она привыкла быть недовольной и умела не обращать на это внимания. Во всем остальном она была счастлива, потому что муж ее снова ожил. Она неплохо поела; ей пришлись по душе кухня дочери и светлый, нарядный дом. Миссис Найт даже польстила мне – она была уверена, что Шейла сделает худшую партию.

– Я всегда знала, что вы будете преуспевать, – сказала миссис Найт.

Память явно ей изменяла. Когда Шейла впервые привела меня, тогда бедного молодого человека, в дом своего отца, миссис Найт считала меня крайне нежелательной партией, но, сидя сейчас в нашей уютной гостиной, была уверена, что говорит чистую правду.

Миссис Найт с удовольствием перечислила имена других мужчин, за которых Шейла могла бы выйти замуж; никому из них не удалось, с ее точки зрения, преуспеть так, как мне. Я взглянул на Шейлу. Она ответила взглядом, но не улыбнулась. Снова донесся бархатный голос мистера Найта:

– А он, наш друг Льюис, он доволен своими успехами?

– Еще бы, – решительно ответила миссис Найт.

– Вот как? А я никогда не был доволен своими, но, разумеется, я и не сделал ничего значительного. Я вижу, наш друг Льюис кое-чего добился, но мне бы хотелось знать наверняка, доволен ли он?

На что он намекал? Никто не умел так верно определить цену успеха, как мистер Найт.

– Конечно, нет, – ответил я.

– Я так и думал. – Глядя в сторону, он продолжал: – Попробуйте меня, если я ошибаюсь – я в таких делах совершеннейший профан, – но мне кажется, что ни в одном из двух родов деятельности, которые вы избрали, вы не рассчитываете по-настоящему преуспеть. Надеюсь, в моих словах нет ничего обидного?

– Вы совершенно правы, – ответил я.

– Конечно, – размышлял мистер Найт, – если бы каждому был присущ тот злосчастный темперамент, которого лишены многие из нас и который не может примириться с жизнью, не собрав все первые призы, ваша нынешняя деятельность не приносила бы вам особого удовлетворения.

– Да, – согласился я.

Он задевал меня очень глубоко, добирался до самого больного места. Он это знал; знала Шейла, знал я. Не знала только миссис Найт.

– Большинство людей были бы рады оказаться на месте Льюиса, я в этом уверена, – сказала она. И обернулась к Шейле, которая сидела на пуфе в тени: – Не так ли, Шейла?

– Ты же уверена.

– Если это не так, то виновата ты.

Миссис Найт громко рассмеялась. Она видела лицо Шейлы, бледное, с застывшей неестественной улыбкой, и ее раздражало, что у дочери не слишком приветливый вид. Здоровая и вполне довольная собой, миссис Найт не способна была понять, почему все окружающие не чувствуют себя так же.

– Пора вам двоим подвести итог вашим благам, – сказала она.

Встревоженный мистер Найт попытался было подняться, но она продолжала:

– Я говорю с тобой, Шейла. Тебе повезло больше, чем другим, и я надеюсь, ты это сознаешь.

Шейла не шевельнулась.

– Твой муж занимает хорошее положение, – не сдавалась миссис Найт. – У тебя прекрасный дом, потому что твои родители оказались в состоянии помочь тебе, у тебя достаточно денег для любого благоразумного занятия. И я не могу понять, почему...

Мистер Найт пытался было отвлечь ее, но на этот раз она не обратила на него никакого внимания.

– Я не могу понять, – продолжала миссис Найт, – почему ты не заведешь себе ребенка.

Я слушал и сначала не мог понять смысла сказанных ею слов – они показались мне просто шуткой, бездумной, добродушной. Потом они дошли до меня и больно ранили; но

это было ничто по сравнению с болью, причиненной Шейле. Я в страхе смотрел на нее, лихорадочно подыскивая предлог, чтобы увести ее и остаться с нею наедине.

Ее отец тоже смотрел на нее и что-то говорил, стараясь сгладить, как-нибудь смягчить сказанное женой.

И вдруг, к нашему удивлению, Шейла рассмеялась. Не истерично, а искренне, почти грубо. Этот великолепный образец бестактности на мгновение доставил ей удовольствие. На какую-то минуту она почувствовала себя обыкновенной среди обыкновенных. Ее считают женщиной, которая, ради возможности жить в свое удовольствие и не считать каждую монету, отказалась иметь ребенка! Это ставило ее на равную ногу с матерью, делало такой же деятельной, такой же практичной.

А миссис Найт ничего не замечала и продолжала говорить, как неразумно откладывать это слишком надолго. Шейла перестала смеяться, но все же, казалось, готова была отвечать матери и согласилась пойти с ней днем по магазинам.

Они шли по залитой солнцем дорожке, светло-зеленое платье Шейлы развевалось в такт ее широким шагам, а мы с мистером Найтом смотрели им вслед. Потом, в этой теплой комнате, где все окна оставались закрытыми, чтобы не повредить его здоровью, отец Шейлы медленно поднял на меня глаза.

— Они ушли.

Умные и печальные глаза его были полны жалости к себе. Когда я предложил ему сигарету, он с упреком их закрыл.

– Не решаюсь. Не решаюсь.

Потом веки его медленно поднялись, и он мимо меня посмотрел через окно в сад. Его интерес к саду казался неуместным, как и первое его замечание, и тем не менее я ждал, зная его манеру говорить витиевато, когда он нанесет удар.

– Мне кажется, – начал он, – что, если международная обстановка сложится так, как я предполагаю, нам всем придется слишком о многом задуматься... Даже тем из нас, кому выпала только роль зрителей. Любопытная судьба, мой дорогой Льюис, сидеть в своей берлоге и наблюдать; как происходит то, что ты предсказывал, даже не обладая особым даром провидения.

Сплетая и расплетая мысли, но не затрагивая главной своей темы, он все говорил и говорил, а я ждал, зная, что самое важное впереди. Он был по-своему откровенен, но откровенность эта была лишь видимой. В его запутанных рассуждениях подчас мелькали любопытные мысли о мировой политике того времени и о ее перспективах; ему всегда была присуща какая-то холодная отрешенность, удивительная в таком эгоистичном, но робком человеке.

– В худшем случае, я полагаю, – сказал он безразличным тоном, – (а это, надо признаться, горькое утешение для провинциала, вроде меня, – убедиться, что и в столице люди

не исключают худший случай), я полагаю, что некоторым данное обстоятельство лишь поможет забыть, — хоть это и несколько легкомысленный способ решения деликатных вопросов, — данное обстоятельство лишь поможет забыть о собственных горестях.

Это было начало.

— Возможно, — согласился я.

— Произойдет ли так с ней? — спросил он прежним безразличным тоном.

— Не знаю.

— И я не знаю. — Он снова пошел кружить вокруг да около. — Кто из нас может утверждать, что знает хотя бы одну мысль другого? Кто из нас может это утверждать? Никто, даже такой человек, как вы, Льюис, обладающий, если можно так выразиться, большим, чем у других, даром понимания. Кроме того, человеку свойственно предполагать, что по сравнению с другими он и сам не так уж туп. И все же никто не посмеет утверждать — я думаю и вы не станете, — что можно полностью разделять страдания другого, даже если видишь их собственными глазами.

Не спуская с меня хитрого и печального взгляда, он снова вильнул в сторону.

— Возможно, чувствуешь это по-настоящему только тогда, — сказал он, — когда сознаешь всю ответственность за свое дитя. Думаешь, что способен знать свое дитя, — на мгновение его бархатный голос дрогнул, — как самого себя. Плоть



от плоти своей, кость от кости. И вдруг перед тобой представит совсем другое существо и ты никак не можешь понять, что же произошло, и это тем печальнее, что иногда его состояние духа напоминает твое собственное. Если когда-нибудь бог благословит вас ребенком, Льюис, и у вас появится повод к тревогам, и вам придется быть свидетелем страданий, в которых вы чувствуете себя виновным, тогда, надеюсь, вы поймете то, что я пытался, хоть и очень неумело, объяснить.

– Мне кажется, я могу себе это представить.

Уловив в моем голосе насмешку, он опустил глаза и негромко спросил:

– Скажите мне, как она живет?

– Да почти все так же, – ответил я.

Он немного подумал.

– Как она проводит время в этом доме? – спросил он.

Я сказал, что недавно она нашла для себя новое занятие: помогает человеку, впавшему в бедность.

– Она всегда была добра к неудачникам.

Он скупно улыбнулся поджатыми губами. Мог ли он достаточно объективно судить, насколько она отличалась от него, с его жадной жаждой успеха, с его нетерпением узнать, какова подлинная цена репутации каждого нового знакомого на фондовой бирже репутаций.

Он снова витиевато и уклончиво заговорил о том, как опасно проявлять участие к неудачнику; потом прервал себя и, глядя куда-то в пространство, сказал:

– Конечно, теперь ответственность лежит не на мне, она перешла к вам, и так лучше для всех нас, потому что у меня нет больше сил нести это бремя, и, по правде сказать, даже за эту попытку поговорить с вами по душам мне, наверное, придется заплатить собственным здоровьем. Конечно, сейчас бремя ответственности лежит на вас, и я знаю, что вы несете его охотнее, чем большинство мужчин на вашем месте. И конечно, я знаю, моя дочь никогда не умела себя вести в присутствии моей жены. Это всегда меня огорчало, но сейчас мы должны забыть об этом. Однако, даже если сегодня у меня создалось неправильное впечатление, нельзя откладывать на потом то, что следует сделать теперь. Потому что, видите ли, принимая во внимание все, включая и вероятность того, что я в корне ошибаюсь, есть нечто такое, о чем я не могу не упомянуть.

– Что именно? – спросил я.

– Вы сказали мне несколько минут назад, что, по-вашему, состояние ее почти не изменилось.

– А по-вашему?

– Боюсь, приходится только надеяться, что я, быть может, ошибаюсь, – ответил он, – боюсь, она ушла от всех нас немного дальше, чем когда-либо.

Он закрыл глаза и, когда я попытался заговорить, покачал головой.

– Мне остается только положиться на вас. Вот все, что я могу сказать, – прошептал он. – В комнате немного душно,

мой дорогой Льюис. Может быть, ничего не случится, если  
отворить окно, хоть маленькую щелочку?

## 4. Пожатие руки в жаркий вечер

Как-то вечером, вскоре после визита Найтов, возвращаясь домой из Милбэнка, я забрел в маленький бар на набережной и увидел там, за бочонками, служившими столами, у большого настенного зеркала, нескольких моих знакомых. Когда я к ним подошел, они замолчали; мне показалось также, что взгляд, брошенный на меня Бетти Вэйн – молодой женщиной, которую я знал лучше остальных, – был чересчур внимательным и тревожным. Несколько минут мы все обсуждали, а вернее сказать, хором комментировали наиболее жгучие политические события тех дней, а потом мы с Бетти вместе вышли из бара.

Бетти была маленькая женщина лет тридцати, с резкими чертами лица, с довольно крупным носом и чудесными доверчивыми глазами. Ее трудно было назвать хорошенькой, но она отличалась такой сердечностью и живостью, что лицо ее часто казалось просто очаровательным. Она не рассчитывала на восхищение мужчин. Замужество ее оказалось неудачным; она была настолько не уверена в себе, что не могла привлечь поклонников.

Я познакомился с ней в загородном доме ее родственников, Боскаслов, при довольно любопытных обстоятельствах. Вся ее семья отчаянно перессорилась из-за политических разногласий, и Бетти не разговаривала с доброй половиной

своих родных. Она подружилась со мной, потому что мы оказались единомышленниками; она старалась сблизиться с теми, кто разделял ее точку зрения, как, например, эта компания в баре. Странно было видеть ее в обществе людей, которые лорду Боскаслу показались бы такими же чуждыми, как аборигены с острова Тробрианд.

Когда мы шли по набережной, я подумал, что оба мы, озабоченные собственными делами, отягощены и заботами общественного характера, а ведь в иных обстоятельствах, думаю я, Бетти интересовалась бы политикой не больше, чем миссис Найт. Она шла привычным ей широким, решительным шагом, совсем мужским, и при этом была самой женственной из всех женщин. Эта походка была лишь защитной реакцией, – она боялась, как бы я или кто-нибудь другой не подумали, что она жаждет завести роман. Но под конец походка и разговор ее стали менее напряженными, она словно оттаяла, радуясь своему умению вести себя.

Мы помолчали, потом я спросил:

– Когда я вошел, вы говорили обо мне?

Она сбилась с шага и на ходу переменила ногу.

– Не совсем, – ответила она, потупившись, и крепко сжала губы.

– О чем же тогда? – Она не ответила, и я повторил: – О чем?

Она сделала над собой усилие, подняла на меня глаза, и взгляд ее был честным, встревоженным и твердым.

– Вы сами знаете.

– О Шейле?

Она кивнула. Я знал, что Шейла ей не нравится, но спросил, что именно говорили.

– Ничего. Всякую чепуху. Вы же знаете, каковы люди.

Я молчал.

Каким-то несвойственным ей светским тоном, словно обращаясь на вечере к незнакомому человеку, она вдруг добавила:

– Мне очень не хочется вам рассказывать.

– Для меня это еще более неприятно.

Бетти остановилась, положила руку на парапет набережной и повернулась ко мне:

– Если уж говорить, то придется напрямик.

Она понимала, что я разозлюсь, понимала, что я имею право знать. Ей не хотелось портить себе вечер, и в голосе ее, когда она заговорила, слышалась досада на меня за то, что я заставляю ее это делать.

Я попросил ее продолжать.

– Что ж, – она вновь перешла на светский тон, – собственно говоря, уверяют, что фактически она вас бросила.

Этого я никак не ожидал и потому засмеялся.

– Вот уж чепуха!

– Чепуха?

– К кому же, по их мнению, она от меня уходит?

Тем же светским, сдержанным тоном она ответила:

– Говорят, она предпочитает женщин.

Это была чистейшая ложь, я так и сказал.

Бетти удивилась и даже рассердилась, потому что я возразил довольно резко, хотя она, конечно, этого ждала.

Я начал выпрашивать у нее подробности.

– Откуда пошли эти слухи?

– Все так говорят.

– Кто же именно? От кого это исходит?

– Во всяком случае, не от меня. – Она пыталась оправдаться, но мне было не до нее.

Я попросил ее постараться припомнить, откуда пошел слух.

Припоминая, она немного успокоилась; через минуту лицо ее просветлело.

– Уверена, – сказала она, – что это идет от человека, который ее хорошо знает. Она ведь, кажется, у кого-то работает? Не связана ли она с одним человеком... у него такое лягушачье лицо? Он, кажется, букинист.

Робинсон держал когда-то букинистический магазин, но это было очень давно. Я едва поверил своим ушам.

– Робинсон?! – воскликнул я. – Вы имеете в виду его?

– Робинсон? У него красивые седые волосы, с прямым пробором? Он знаком с ней, не так ли?

– Да, – ответил я.

– Значит, это он пустил слух, что она равнодушна к женщинам.

На углу Тайт-стрит я расстался с Бетти, даже не проводив ее до дому, досадуя на нее за то, что она сообщила мне дурные вести. Чем фальшивее слух, тем больнее он ранит. Всю дорогу домой я злился на Бетти и старался уверить себя, что все это она сама выдумала, хотя я знал ее как честного человека и верного Друга.

Но Робинсон? Это не укладывалось у меня в голове; он не мог так поступить, хотя бы ради собственных интересов. Если Шейла что-нибудь узнает, прежде всего не поздоровится ему.

Сказать ли Шейле? Я решил молчать. Возможно, сама сплетня и не очень ее огорчит, кто знает. Общество, в котором мы жили, довольно терпимо относилось к проблемам пола. И тем не менее сплетня, грязная сплетня таила в себе нечто унижительное и особенно для такого человека, как Шейла. А то обстоятельство, что ее пустил Робинсон, – будь это правда или ложь, – казалось постыдным даже мне, не говоря уже о Шейле. Поэтому мне и хотелось по возможности сделать так, чтобы она ничего не узнала.

И вот, вместо того чтобы рассказать ей все в тот же вечер, я слушал ее просьбы помочь Робинсону. Он собирался весной выпустить три первые книги.

– Быть может, это все, что ему удастся, – сказала Шейла, настроенная самым серьезным образом, – но если они будут иметь успех...

Она хотела сказать, хотя и не кончила фразы, ибо никогда



не выражалась так высокопарно, что в этом случае цель ее будет достигнута; она надеялась таким путем сохранить его уважение к самому себе.

Но все оказалось не так просто; из тех иностранных книг, на которые он рассчитывал, ему удалось лишь на одну приобрести права на издание. Почти все радужные мыльные пузыри, что он пускал, сидя за нашим обеденным столом, лопнули, признала она; он всегда слишком увлекался своими планами, если он чего-то очень хотел, ему казалось, что он это уже имеет. Все же в другом отношении он остался верен себе. Ничто не могло заставить его заменить плохими или даже посредственными книгами те, которые, как он воображал, были у него в портфеле. Или что-нибудь стоящее, или ничего.

Не могу ли я помочь ему найти подходящего автора? Среди начинающих многие перебиваются с хлеба на воду, а она знала, что у меня есть друзья среди писателей. Хотя она и понятия не имела о моей работе, да и не притворялась, что имеет, она считала, что я в конце концов должен посвятить себя литературе. Непостижимо, но эта мысль доставляла ей какое-то удовольствие.

Могу ли я помочь Робинсону?

По просьбе Шейлы, я написал от его имени несколько писем; один ответ показался ей достаточно обнадеживающим, чтобы начать действовать. Затем, две недели спустя, я снова услышал о Робинсоне.

Я был в конторе Лафкина, когда раздался телефонный звонок. Резким, взволнованным, явно сердитым голосом Бетти Вэйн спросила, не могу ли я сейчас же с ней встретиться? Очень скоро она сидела в кресле у моего стола и рассказывала, что ей опять не повезло. Ей довелось услышать новые сплетни, и из уважения ко мне она не может утаить их от меня. Она уже знала мой характер по прошлому разу и была уверена, хоть и не упомянула об этом, что я рассержусь на нее за такие новости. И тем не менее она решилась.

Слухи росли. Шейла не только эксцентрична, но и неуравновешенна; она месяцами лечится у психиатров и проводит немало времени в лечебницах для душевнобольных. Этим и объясняется наша ненормальная супружеская жизнь, поэтому-то мы и перестали принимать, поэтому она по целым неделям не выходит из дому, поэтому мы не решаемся иметь детей.

Некоторые слухи касались и меня: зная о ее болезни, я женился на ней только потому, что ее родители заплатили мне. Но в основном речь шла о Шейле, говорили, что будь мы бедняками и людьми невлиятельными, ее бы давно взяли на учет как психически неполноценную.

Эти слухи были искусно придуманы, на первый взгляд убедительны, пущены в ход с изощренной изобретательностью и в двух-трех случаях граничили с правдой. Большинству их легко было поверить, даже не желая Шейле зла, стоило только заметить, что она действительно человек со стран-

ностями. Слухи распространялись и росли как снежный ком, в основном за счет подробностей о ее болезни. Но поначалу слухи эти, тонко и пикантно придуманные человеком, отнюдь не лишенным воображения, были непохожи на все, что мне когда-либо доводилось слышать.

На этот раз сомнений не возникало. Только один человек способен был фантазировать в подобном стиле. Я это знал, и Бетти понимала, что я знаю.

Она сказала, что везде, где только могла, опровергала эти слухи.

– Но кто поверит, когда отрицаешь столь пикантные подробности? – трезво, хоть и с огорчением заключила она.

Нелегко мне было возвращаться домой в этот вечер, когда летний воздух на набережной был насыщен цветочной пылью и чуть отдающим гнилью, сладковатым запахом воды. Утром я оставил Шейлу совершенно спокойной, но теперь мне придется ее предупредить. Другого выхода нет. Стало слишком опасно скрывать от нее эти слухи. Я не знал, как их преподнести и что делать потом.

Я поднялся в спальню: она лежала у себя на постели и читала. Ей было спокойнее, когда я спал в той же комнате, хотя мы редко бывали близки (чем дольше мы были женаты, тем фальшивее звучало слово «любовь»; она редко отказывала мне в близости, но ничего при этом не испытывала). В тот вечер я сидел на своей кровати и наблюдал, как она читает при свете ночника, хотя в спальню начал понемногу

проникать свет заходящего солнца. Окна были распахнуты, и в комнату доносился запах извести и бензина, наступала жаркая и безветренная ночь.

Шейла легла, наверное, из-за жары. Она была в халате, на лбу у нее блестели капельки пота, в руке была папироса. Она казалась немолодой и некрасивой. Внезапно я почувствовал острую близость к ней, близость, рожденную годами совместной жизни и ночами, когда видел ее такой. Я всем существом своим желал ее.

– Жарко, – сказала она.

Я лег, мне не хотелось нарушать мир и тишину.

В комнате не слышно было ни звука; только Шейла перелистывала страницы да с улицы доносился шорох шин по мостовой. Шейла лежала ко мне спиной на своей кровати, которая стояла дальше от окна.

Через некоторое время – с полчаса я не решался начать разговор – я окликнул ее.

– Да? – отозвалась она, не меняя позы.

– Нам нужно поговорить.

– О чем?

Голос ее все еще звучал лениво, она не подозревала ничего страшного.

– О Робинсоне.

Она редко повернулась на спину и устремила взгляд в потолок.

– А что такое?

Я перед этим долго подбирал слова и теперь ответил:

– На твоём месте я бы меньше ему доверял.

Наступило долгое молчание. Шейла не шелохнулась, словно и не слышала моих слов. Наконец она заговорила холодным звенящим голосом:

– Ты не сказал мне ничего нового.

– А ты знаешь, что именно он говорит?

– Какое это имеет значение?! – воскликнула она.

– Он распространяет грязную клевету...

– Я не хочу слушать.

Голос выдавал её волнение, но она не шевелилась.

Через минуту она сказала в тишину комнаты:

– Я же говорила тебе, что он не будет благодарен.

– Да.

– Я оказалась права.

Её смех был похож на звон разбитого стекла. Я подумал, что те, кто, как она, стараются обнажать самые непривлекательные стороны человеческой сущности, больше всех ими восхищаются.

Она села, прислонившись к спинке кровати, и посмотрела на меня в упор.

– Почему он должен быть благодарен?

– Он пытался причинить тебе зло.

– Почему он должен быть благодарен? – В ней поднимался леденящий гнев; давно уже я не видел её в таком состоянии. – Почему должен он или кто-нибудь другой быть благо-

дарен, если в его жизнь вмешивается посторонний человек? Вмешивается, говорю я тебе, ради собственной выгоды. Я ведь не старалась сделать что-нибудь для Робинсона, я просто хотела отвлечься, и ты это отлично знаешь. Почему бы ему и не говорить все, что он хочет? Я не заслуживаю ничего другого.

– Заслуживаешь, – сказал я.

Она не отрывала от меня глаз. Лицо ее стало суровым и жестоким.

– Послушай, – сказала она, – вот ты отдал многие годы жизни, чтобы заботиться обо мне, ведь правда?

– Ты говоришь не то.

– А что еще можно сказать? Ты заботишься о человеке, который сам по себе бесполезен. Много хорошего это дало тебе? – Холодным, насмешливым тоном она добавила: – Да и мне тоже.

– Я это очень хорошо знаю.

– Ты пожертвовал многим, что тебе дорого, да? Раньше ты интересовался своей карьерой. Ты жертвовал тем, чего хочет большинство мужчин. Тебе бы тоже хотелось иметь детей и жену, которая бы тебя удовлетворяла. Ты сделал это ради меня. Почему?

– Ты знаешь почему.

– Я никогда этого не знала, наверное, у тебя есть своя причина. – Ее опустошенное, измученное лицо выражало-страстный порыв. – И ты думаешь, я благодарна?! – вос-

кликнула она.

После этого яростного и презрительного выкрика она сидела неподвижно. Я видел, как ее глаза, которые она не отрывала от моих, медленно начали краснеть и слезы покатались по ее щекам. Она плакала редко и только в таком состоянии. В тот вечер – хотя мне не раз доводилось видеть это прежде – меня испугало то, что она даже не подняла руки, а продолжала сидеть неподвижно, слезы катились по ее лицу, как по оконному стеклу, и халат на груди становился мокрым.

Я знал, что после такой вспышки я бессилен был что-либо сделать. Ни нежность, ни грубость не могли ей помочь. Говорить было бесполезно, пока она сама не нарушит молчание, попросив носовой платок или сигарету.

В половине девятого мы должны были встретиться с моим братом в ресторане в Сохо. Я напомнил ей об этом, но она только покачала головой.

– Ничего не выйдет. Тебе придется пойти одному.

Я сказал, что встречу легко отложить.

– Иди, – ответила она. – Тебе лучше побыть вне дома.

Мне не хотелось оставлять ее одну в таком состоянии, и она это знала.

– Все будет в порядке, – сказала она.

– Ты уверена?

– Все будет в порядке.

Испытывая давно знакомое мне трусливое чувство облегчения, я ушел. И через три часа, с не менее знакомым чув-

ством тревоги, вернулся.

Она сидела почти в том же положении, в каком я ее оставил. На мгновение мне показалось, что она так и не двинулась с места, но тут я с облегчением заметил, что она принесла свой патефон; на полу лежала груда пластинок.

– Хорошо провел время?

Потом она расспрашивала меня о моем брате, словно пыталась неуклюже и неумело загладить свою вину. Тем же напряженным, но дружеским тоном она сказала:

– Что же мне делать с Робинсоном?

Она давно обдумала этот вопрос.

– Ты готова с ним расстаться?

– Как хочешь.

Я понял, что она еще не готова. Для нее по-прежнему было важно помочь ему. Это было и без того трудно, и я не имел права еще все осложнять.

– Что ж, – сказал я, – ты ведь знала, что он за человек, и, собственно, ничего не изменилось, – он ведет себя именно так, как ты и ожидала.

Она улыбнулась с облегчением, видя, что я понял.

Тогда я сказал ей, что кому-нибудь из нас придется без обиняков сказать Робинсону, что мы слышали о его клевете и не намерены ее терпеть. Я был бы очень рад, просто счастлив, поговорить с ним, но, вероятно, будет больше толка, если она возьмет это на себя.

– Разумеется, – согласилась Шейла.



Она встала с постели и подошла к пуфу возле зеркала. Оттуда она протянула мне руку, не ласково, а словно закрепляя сделку.

– Ненавижу эту жизнь, – глухо сказала она. – Если бы не ты, я бы давно покончила с собой.

Она никогда не произносила громких слов, но я был так рад, что она успокоилась, так тронут этим трудным для нее и потому скрытым признанием своей вины, что не очень прислушался к словам и только мягко сжал ее руку.

## 5. Несбыточная мечта

Когда Шейла обвинила Робинсона в распространении сплетен, он не смутился и только мягко ответил, что их стараются поссорить его враги. А когда спустя несколько дней мы с ней зашли к нему в контору, он принял нас с присущей ему старомодной учтивостью, ничуть не растерявшись, словно ее обвинения были лишь проявлением дурного вкуса, которое он готов простить.

Он снял две комнаты в мансарде на Мейден-лейн.

– Всегда нужно иметь такой адрес, какого люди от тебя ожидают, – сказал он, показывая мне бланки со штампом: «Акционерное общество Р.-С.Робинсон, Лондон, Мейден-лейн, 16». Выглядит как крупная фирма, правда? И кто может знать, что это не так? – добавил он, гордый своей проныцательностью, наивно веря, что людей очень легко обмануть.

Он был совершенно трезв, но так упоен собой, что казался пьяным. Он захлебывался от смеха, рассказывая о своих хитростях: о том как он играл роль несуществующего компаньона, разговаривал по телефону как старший приемщик рукописей, заставлял свою секретаршу представлять себя под разными вымышленными именами. Он позвал ее; она сидела за машинкой в маленькой комнате, одной из двух, которые он снимал, и была единственным служащим его фирмы.

Это была двадцатилетняя девица с мягкими чертами лица, только что окончившая модный колледж, готовящий секретарей, — как я узнал потом, дочь директора школы. Она была в восторге от своей первой работы в Лондоне и уверена, что издательское дело ведется именно так, как ведет его Робинсон.

— Мы произвели на него впечатление, правда, мисс Смит? — спросил он у нее, рассказывая о недавнем посетителе и почтительно ожидая ее мнения.

— Кажется, да, — ответила она.

— Вы в этом уверены, не так ли? Это очень важно, и я думал, вы уверены.

— Трудно что-либо утверждать, пока мы не получим от него письмо, — ответила она со спасительным благоразумием.

— Разве вам не кажется, что мы несомненно произвели на него впечатление? — сверкая стеклами очков, спросил сияющий Робинсон. — Понимаете, мы представляли часть редакции, — объяснил он нам с Шейлой. — Только часть, и конечно, временно в этом помещении...

Он осекся, глаза его сверкнули, и он с раздражением заметил:

— Шейла, кажется, не совсем одобряет эти импровизации.

— Бесполезная трата времени, — сказала она. — И ничего вам не даст.

— Много вы понимаете, — возразил он как будто добро-

душным тоном, но под добродушием таилась грубость.

– Вполне достаточно. – Шейла говорила напряженно и серьезно.

– Вам еще предстоит кое-чему научиться. Три-четыре хороших книги, непременно немного мистификации, и тогда тебя заметят. Посадить лису в курятник – я очень верю в это, потому что тогда обыватели не могут не всполошиться. Вы, Шейла, пример этому: стоит вам услышать о чем-то необычном, – и вы уже беспомощны, не можете устоять. Всегда делайте то, что не принято. Это – единственный путь.

– Другие обходятся без него, – сказала Шейла.

– Им не приходилось в течение сорока лет пробиваться, не имея ни гроша за душой. Как вы думаете, вы бы сумели справиться? – Он говорил все в той же добродушной манере.

Хвастаясь своими хитростями, он чем-то напоминал невинного младенца. У него было детское лицо, и, подобно многим непосредственным людям, он вел себя по-детски бестактно. Свои трюки он проделывал, как нечто вполне естественное. Именно так они и воспринимались окружающими.

Но это было еще не все. В его характере была одна черточка, которая помогала ему всю жизнь попрошайничать, выклянчивать, обводить вокруг пальца тех, кого он считал ниже себя. Эта черточка заставляла его делать гадости всем, кто был раньше ему полезен. Он кипел ненавистью только потому, что у кого-то есть власть и деньги, в то время как у

него их нет. В этот день он был предельно любезен с мисс Смит, как будто ее суждение было для него не менее ценно, чем наше, а то и более. Он расстилался передо мной, потому что я для него ничего не сделал и мог в душе быть его врагом; но Шейле, которая, благодаря несправедливости судьбы, имела возможность помочь ему и пожелала сделать это, он не отказал себе в удовольствии показать когти.

В тот день я оказался в довольно сложном положении. Мне хотелось бы вести себя грубо; но все, что я мог сделать, это напомнить ему о моем существовании. Шейла еще не была готова отступить. Дело упиралось не в деньги, ибо сумма была не велика, и не в чувство жалости к нему, которое вообще не было решающим, а сейчас превратилось уже просто в отвращение. Но она всегда была упрямой, и желание помочь этому человеку было твердым. Он оказался более отвратительным, чем она предполагала, но это ничего не меняло: раз решила — отступить нельзя.

Мне оставалось только слушать, как Робинсон и Шейла спорили о произведении, которым он восхищался, а она считала не заслуживающим внимания. Расплываясь в сладкой улыбке, он, как хозяин после большого приема, распрощался с нами на лестнице. Я был уверен, что, затворив за собой дверь, он ухмыльнулся в сторону мисс Смит, поздравляя себя с тем, как удачно провел день.

В то лето я читал газеты с возрастающей из дня в день тревогой, а Шейла все меньше и меньше интересовалась тем,

что происходит на свете. Когда-то она полностью разделяла мои политические взгляды, у нас были одни надежды и одни тревоги. Но в августе и сентябре 1938 года, когда я впервые начал слушать сводки последних известий по радио, она безучастно сидела рядом или уходила в соседнюю комнату читать очередную рукопись для Робинсона.

В день Мюнхена она, не сказав ни слова, исчезла с самого утра и оставила меня одного. Я не мог выйти, так как уже несколько дней меня не отпускал радикулит, с некоторых пор мой постоянный спутник; боли по ночам бывали так жестоки, что мне приходилось временами перебираться из спальни. Весь этот день я лежал на диване в комнате, которая вначале была гостиной Шейлы; но однажды я сказал ей в этой комнате, что больше не могу выдержать, – решение, от которого я через час отказался, – и она больше не пользовалась ею; такого суеверия я прежде в ней не замечал.

Окна этой комнаты, как и окна спальни, выходили в сад, а за ним виднелись деревья на набережной и река. С дивана, где я проводил долгие часы, мне были видны верхушки платанов на фоне равнодушного голубого неба.

Единственный человек, с кем мне удалось за весь день перекинуться словом, была наша экономка, миссис Уилсон. Она приносила мне лимонад и еду, которую я не мог есть. Это была женщина лет шестидесяти; лицо ее неизменно носило печать кроткого недовольства, но выражение это не старило ее, а, наоборот, делало моложе; уголки ее рта и глаз бы-

ли опущены, губы поджаты, и все же она выглядела женщиной лет сорока, на которую муж не обращает внимания.

Сразу же, после того как она принесла чай, я снова услышал на лестнице ее шаги, на этот раз быстрые, а не как обычно, тяжелые и усталые. Когда она вошла, щеки ее горели, а выражение лица было насмешливым и приятным.

– Войны, говорят, не будет. – И она стала рассказывать о том, что слышала на улице: премьер-министр отбыл в Мюнхен.

Я попросил ее принести вечернюю газету. Там, в разделе экстренных сообщений, говорилось то же самое. Я лежал, глядя на деревья, позолоченные заходящим солнцем, превозмогая острую боль в спине, забыв о Шейле и со страхом думая только и том, что надвигается, с таким страхом, будто это было мое личное горе.

Около семи часов, когда заходящее солнце раскалило небо за окном добела, Шейла повернула ключ в замке парадной двери. Я поскорее принял три таблетки аспирина, чтобы хоть на полчаса заглушить боль. Она вошла в комнату, придвинула стул к моему дивану и спросила:

– Ну, как ты?

– Не очень хорошо, – ответил я и в свою очередь спросил ее, как прошел день.

Неплохо, ответила она и охотно рассказала мне (в те дни, когда я еще ее ревновал, я убедился, как отвратительны ей всякого рода допросы), что заходила на Мейден-лейн. Ро-

бинсон продолжает уверять, что весной выпустит книгу. Она в этом далеко не уверена, сказала она, как всегда трезво смотря на вещи.

Я сгорал от нетерпения и, прервав ее, спросил:

– Слышала новости?

– Да.

– Жуткое положение. Хуже быть не может.

Мне все время хотелось поговорить с кем-нибудь, кто разделял бы мои мысли. И теперь я говорил с Шейлой так, как мог бы говорить много лет назад, когда она еще не целиком ушла в себя. Тогда разговор о моих страхах был бы для меня маленькой отдушиной.

– Хуже быть не может, – повторил я.

Она пожала плечами.

– Ты думаешь, это, не так? – взывал я к ней.

– Возможно.

– Если у тебя есть большие надежды на будущее...

– Это зависит от того, насколько человека интересует его будущее, – ответила Шейла.

От ее слов на меня повеяло холодом; но я был в таком отчаянии, что решил продолжить:

– Так жить нельзя!

– Вот именно, – ответила Шейла.

Она смотрела на меня, но стояла спиной к заходящему солнцу, и я не мог разглядеть ее лица. В голосе ее послышалось участие, когда она сказала:



– Успокойся. Во всяком случае, это даст нам некоторую передышку.

– Ты согласна на передышку даже на таких условиях?

– За это время Робинсон, возможно, выпустит книгу, – сказала она.

Ее слова прозвучали, как сомнительная острота в духе времен Марии-Антуанетты, но я не возражал и против этого. Ведь она говорила от всей души, от страха, одержимости, внутренней холодности – всего, что осталось в ней.

– И это все, о чем ты думаешь, даже в такой день?! – вскричал я.

Она ничего не ответила, налила в мой стакан лимонад и проверила, достаточно ли у меня таблеток аспирина. Некоторое время она молча сидела подле меня; в комнате уже стало совсем темно. Наконец она спросила:

– Тебе еще что-нибудь нужно?

– Нет, – ответил я, – ничего.

И она ушла спокойным, мерным шагом.

Ночь была жаркая, и я спал не более часа или двух. Боль все усиливалась, я корчился в постели, обливаясь потом. В промежутках между приступами меня одолевали мысли о новостях этого дня, то мрачные, то светлые, светлые до очередного приступа боли. Долгое время я не вспоминал о Шейле. Я напряженно размышлял, хоть это было и ни к чему, о том, как скоро наступит следующий Мюнхен и какова будет тогда наша участь. Проходили часы, и я начал спраши-

вать себя, уже совсем засыпая, сколько времени нам – нет, не нам, а мне – остается жить личной жизнью? А под утро все настойчивее, хоть и сквозь дремоту, вставал вопрос: «Если что-нибудь случится, *что я буду делать с Шейлой?*»

Я был неразрывно с ней связан – мне и в голову не приходило в этом усомниться. В прежние годы, когда я еще сталкивался не с повседневностью брачной жизни, а только с мыслью о ней, я знал, что другие мужчины сочли бы ее невыносимой; от этого теперь мне легче не становилось, – напротив, тем острее вынужден я был чувствовать, что всему виновю моя натура. И побуждало меня к этому не сознание ответственности и не стремление заботиться о другом человеке, – вернее, то и другое было, но под этим скрывались подлинные истоки привлекательных и обманчивых черт моего характера.

А истоки эти были вовсе не так уж хороши; в душе моей коренился порок, скорее даже сочетание-пороков, которые определяли и хорошие и дурные мои поступки по отношению к окружающим, вообще всю мою жизнь. В иных случаях я заботился о себе меньше, чем большинство людей. Не только моей жене, но и брату, и моему другу Рою Кэлверту, и другим я был предан искренне, без малейшей тени эгоизма. Но в самой глубине своей это качество принимало несколько иной вид. Не о том ли думала Шейла, когда в спальне она упомянула о людях, помогающих другим по каким-то своим мотивам?

В основе моей натуры таилась своего рода гордость, — или тщеславие, — которая не только заставляла меня пренебрегать самым собою, но и мешала мне вступать в самые глубокие человеческие отношения на равных началах. Я мог быть преданным, это верно; но только до тех пор, пока меня, в свою очередь, не поймут, не начнут обо мне заботиться, не заставят разделять горе и счастье другого сердца.

Поэтому, очевидно, я и стремился к тому, что обрел в браке с Шейлой: я мог охранять ее, видеть ее лицо каждый день и взамен получать от нее внимания не больше, — а часто гораздо меньше, — чем она проявила бы к экономке или к случайному знакомому, встреченному в баре в Челси. Это был брак, который требовал от меня полного напряжения, я был постоянно встревожен, часто несчастлив, и все же он не лишил меня силы духа, это было своего рода прибежище.

В человеческих отношениях большую роль играет случай, я это знал; и если не верить в случай, многого не поймешь. Я мог бы оказаться более удачливым, хорошо устроить семейную жизнь, но в целом я должен сказать о себе то, что следует сказать и о других: в самых сокровенных отношениях только из опыта человек способен постичь свое заветное желание.

И все же никто и никогда не может считать себя окончательно обреченным. Я не хотел признавать себя своим собственным пленником. Рано утром на следующий день после Мюнхена я, размышляя о будущем, осознал вопрос, который теперь встал передо мной совершенно отчетливо: *что мне*

*делать с Шейлой?* Один раз я уже пытался расстаться с ней; вторично сделать это я не мог, хотя часто в воображении видел себя свободным.

И вот в эту мрачную ночь среди размышлений об опасности и родилась несбыточная мечта о том, что мне как-нибудь удастся избавиться от постоянной необходимости следить за Шейлой. Во мраке грядущих дней я мог по крайней мере (я не хотел этого, но мечта не покидала меня) не быть свидетелем ее нервных припадков. Ведь может же случиться, что я освобожусь от чувства постоянной ответственности. Когда боль ослабела, а небо стало уже совсем светлым, я задремал с мыслью о том, что, избавившись от ответственности, я обрету нечто лучшее.

## 6. Хмурый взгляд при свете ночника

Не многим из моих знакомых нравилась Шейла. Она привлекала мужчин, находились и такие, кто влюблялся в нее, но она всегда была слишком странной, слишком эгоцентричной, она умела только брать, но ничего не давала взамен и потому не могла вызвать естественного чувства. Особенно заметно это стало, когда все эти черты ее характера с возрастом проявились в полной мере. Ее боготворили некоторые обездоленные, кому она выказывала доброту, и те, кто у нее работал, в том числе и миссис Уилсон, а уж ее никак нельзя было заподозрить в безрассудной восторженности. Кроме этих людей, мне совершенно не с кем было поговорить о ней, когда пошли слухи; и я знал, что ни один человек из тех, кого мы встречали в барах Челси и у друзей, не встанет на ее защиту, кроме двух-трех, вроде Бетти Вэйн, да и они сделают это ради меня.

В ту осень мне не удалось выяснить, насколько живучи эти сплетни. У меня создалось впечатление, что после разговора Шейлы с Робинсоном наступило затишье. Но Робинсон – я понял это только теперь – находил такое удовольствие в сплетнях, что не давал им заглухнуть надолго; преувеличивая, перевирая, придумывая, он рассказывал первому встречному историю, слишком «забавную», чтобы о ней умолчать. В этой истории все было чуть-чуть преувеличено,

и из слухов, передававшихся из уст в уста — цепочка начиналась от него, — я узнал, что личный доход Шейлы составляет четыре тысячи фунтов в год, в то время как в действительности он насчитывал всего семьсот фунтов.

Значит, думал я, о Шейле продолжают злословить. Наблюдая за ней, я был убежден, что она об этом знает: попытки забыться еще больше выдавали ее. Иногда, к концу года, мне казалось, что она больше не выдерживает. Даже навязчивые идеи изживают себя, думал я, точно так же, как в самой неудачной любви наступает момент, когда силы, побуждающие человека уйти от несчастья, значительно превосходят те, которые вовлекают его в это несчастье.

По правде говоря, поведение Шейлы становилось все более и более странным. Она почти не выходила из дому, но перестала интересоваться и пластинками — к ним она Обычно прибегала как к крайнему средству. Казалось, она нашла себе новое занятие. Дважды, вернувшись домой из Милбэнка раньше обычного, я слышал, как она бежит по спальне и захлопывает ящики, словно мое появление застало ее врасплох и она что-то прячет.

Спрашивать ее было небезопасно, и все же я должен был знать. Миссис Уилсон как-то проговорила, что Шейла каждое утро уходит в комнату, которая считалась у нее кабинетом. И вот однажды, отправившись в контору, я с полдороги вернулся домой, словно что-то забыв. Миссис Уилсон сказала, что Шейла, как всегда в последние дни, навер-

ху, в кабинете. Комната эта была в конце коридора, я открыл дверь и заглянул. Шейла сидела за письменным столом, у окна, выходящего на крыши Челси. Перед ней лежала тетрадь, простая школьная тетрадь в синюю линейку; откинув голову – она была дальнозорка, – Шейла с пером в руке перечитывала только что написанное ею. Насколько мне удалось разглядеть через всю комнату, это был не сплошной прозаический текст и не стихи; то, что она писала, походило скорее на диалог.

Заметив, что дверь отворена и что я в комнате, она тотчас закрыла тетрадь и прижала ее рукой.

– Это нечестно! – воскликнула она, как девочка, застигнутая врасплох за каким-то недозволенным занятием.

Я задал ей первый пришедший в голову вопрос – нельзя ли мне сегодня пообедать не в городе, как я собирался, а дома.

– Это нечестно, – повторила Шейла, судорожно сжимая свою тетрадь. Я промолчал. Не говоря более ни слова, она ушла в спальню, и оттуда донеслось щелканье ключа – она отперла и вновь заперла ящик.

Объяснения были излишни. Она пробовала писать и старалась хранить это в тайне. Думала ли она об Эмилии Бронте или Эмилии Дикинсон? Чувствовала ли она себя сродни этим женщинам, столь же ушедшим в себя, как она сама? Обычно, когда мы о них говорили, она – от нее это странно было слышать – осуждала их; спустившись с небес на землю,

говорила она, они принесли бы гораздо больше пользы.

Во всяком случае, ни она, ни я не заговаривали о ее попытках сочинительства до того вечера, когда должен был состояться Барбаканский обед. Барбаканский обед был один из тех приемов, где мне приходилось присутствовать по долгу службы у Поля Лафкина. Обед этот давала ассоциация, состоявшая в основном из членов правления банков, акционерных обществ и страховых компаний, которая занималась рекламой внешней торговли Англии. На этот январский обед был приглашен Лафкин вместе со всеми его старшими администраторами и консультантами и его главные конкуренты со своими сотрудниками.

Я бы не пошел туда, если бы мог отказаться, ибо политическое деление к тому времени стало настолько резким, что даже людям, вроде меня, приученным держать язык за зубами, было весьма не легко провести целый вечер с противником. А это был настоящий противник. Мой брат и его коллеги-ученые, мои приятели из баров Челси и старые друзья, что жили в глухих переулках, – все мы были единомышленниками. В Кембридже и даже среди аристократических родственников Бетти Вэйн встречалось не так уж мало людей, которые на злободневные вопросы того времени – о гражданской войне в Испании, о Мюнхене, о нацизме – придерживались аналогичных со мною взглядов. Здесь же таких почти не было.

Я слышал, как в унисон с другими энергичными, деятель-



ными, мужественными людьми пел мой старый учитель по адвокатской конторе, приобретающий известность адвокат Герберт Гетлиф, во всем идущий в ногу с веком: да, Черчилль — это угроза, он поджигатель войны, и его никоим образом нельзя допускать в правительство; да, вероятность войны уменьшается с каждым днем; да, все делается так хорошо, как только можно, все знают, что мы готовы сотрудничать.

— Как и в вечер Мюнхена, мне стало страшно. Я хорошо знал некоторых из этих людей: хотя они высказывались менее определенно, чем мои друзья, хотя они и были приучены скорее соглашаться, чем не соглашаться, все же это были люди способные; они были крепче и смелее, чем большинство из нас; и все-таки, мне казалось, они обманывали самих себя, чтобы не сказать больше.

Только один человек из тех, кто был мне там знаком, составлял исключение. Это был сам Поль Лафкин. Он не спешил, пытался занять нейтральную позицию, но в конце концов с самым невозмутимым видом примкнул к диссидентам. Никто не мог понять, был ли это деловой расчет, или просто личные соображения, или то и другое вместе. Он сидел за столом, где располагались сильные мира сего, и слушал других боссов, прекрасно зная, как издевались они над ним за его попытки подладиться к оппозиции; их мнение было ему столь же безразлично, как и любое другое.

Он был одинок среди этих магнатов, как и я среди людей,

стоявших тремя-четырьмя ступенями ниже. Поэтому я искренне обрадовался, когда услышал, как на противоположном конце стола, недалеко от меня, Гилберт Кук громогласно уговаривал своих соседей побольше пить, поскольку в будущем году нам уже не придется присутствовать на Барбаканском обеде.

– Почему?

– Придется воевать, – ответил Гилберт.

– Будем надеяться, что до этого не дойдет, – сказал кто-то.

– Будем надеяться, что дойдет, – безапелляционно заявил Кук. Лицо его покраснелось. Сидящие вокруг попытались было возражать, но он стукнул рукой по столу. – Если до этого не дойдет, – сказал он, – мы погибнем. – Он оглядел присутствующих горящими глазами. – Вы хотите видеть нашу гибель?

Кук был сыном кадрового офицера, он вращался в обществе и не испытывал такого благоговейного страха, как те, кто сидел вокруг него. Почему-то они продолжали слушать как он задира и дразнил их, хотя был моложе всех.

Он заметил, что я одобряю его поведение, и лихо, бесцеремонно мне подмигнул. У меня сразу поднялось настроение – приятно было видеть эту непринужденность, это проявление товарищества.

Не он был виноват в том, что за последнее время я редко с ним виделся. Он часто приглашал нас с Шейлой пойти куда-нибудь, и я отказывался только ради нее. Теперь он сно-

ва выказывал чувство товарищества. Через стол он громко спросил у меня, знаю ли я Дэвидсонов, Остина Дэвидсона.

Это был своеобразный символ союзничества, перекинутый через головы почтенных дельцов. Дэвидсон был знатком искусства, представителем одной из династий ученых, в юности связанный с цветом Блумсбери. Нет, ответил я, я слышал о нем, но с ним не знаком. Мне припомнилось, как несколько лет назад мы, бывало, смеялись над этими людьми: они утрировали понятие прекрасного до такой степени, что оно становилось вульгарным; с высокомерным пренебрежением они осуждали чествование в других и спешили, словно имея на это неотъемлемое право, занять все свободные места под солнцем. Это был смех молодых людей, находившихся за пределами недоступного круга. Теперь это не имело значения: Дэвидсон на нынешнем обеде был бы союзником, как и Гилберт, бравировавший его именем.

Гилберт повез меня домой. Я выпил достаточно, чтобы стать разговорчивым, и настроение у меня все еще оставалось отличным. За обедом мы оба разозлились и теперь могли поговорить откровенно. Гилберта не так тревожило будущее, как меня, но он был еще более разъярен. Его боевой дух пришелся мне по душе, и впервые за долгое время я ощутил бодрость и уверенность.

С таким настроением я вошел в спальню; Шейла лежала и читала при свете ночника, как и в тот вечер, когда мы поссорились из-за Робинсона. Только на этот раз комната была

погружена во мрак, и я видел лишь ночник, одну сторону ее лица, обнаженную руку и край рукава ночной сорочки.

Я сел на свою кровать и начал было рассказывать ей про обед, как вдруг почувствовал, что меня непреодолимо влечет к ней.

Она, видно, поняла это по моему голосу, приподнялась на локте и взглянула мне прямо в глаза.

– Ах, вот оно что? – сказала она безразлично, но не враждебно, стараясь быть ласковой.

На ее постели, когда уже было слишком поздно размышлять, я видел перед собой ее лицо и глубокую морщину между глаз, подчеркнутую светом ночника; лицо было утомленное и печальное.

Потом я лежал рядом с ней, и оба мы испытывали тоску, которую часто знали и прежде; я чувствовал себя винноватым, потому что мне было легко, потому что, несмотря на ее хмурый взгляд, который я не мог забыть, я наслаждался животным отдыхом и покоем.

Потом я спросил:

– Что-нибудь произошло?

– Ничего особенного, – ответила она.

– А все-таки?

На мгновение я даже обрадовался. Это была ее собственная печаль, не та, которую много раз испытывали мы, лежа вот так, как сейчас.

Но я сразу же понял, что лучше бы это было наше общее

несчастье, ибо она уткнулась лицом в мое плечо и затряслась от рыданий.

– В чем дело? – спросил я, прижимая ее к себе.

Она только замотала головой.

– Что-нибудь из-за меня?

Она снова покачала головой.

– Что же?

Тонем, полным отчаяния и злости, она сказала:

– Я идиотка.

– Что ты сделала?

– Ты же знаешь, я пробовала писать. Я тебе не показывала, потому что это было не для тебя.

Слова ее ранили меня, но я прижал ее к себе еще крепче и сказал:

– Забудь об этом.

– Я была дурой. Я показала рукопись Робинсону.

– Ну и что?

– Это еще не все. Он ее у меня выпросил.

Беспокоиться не о чем, сказал я ей, нужно только постараться не обращать внимания на злословие, а ведь это худшее, чего можно ожидать.

Я чувствовал, как нарастает в ней тревога, бессмысленная, беспричинная, безутешная. Больше она почти ничего не сказала, не могла объяснить, чего боится, и тем не менее эта тревога так терзала ее, что она уснула в моих объятиях, как всегда, когда ее преследовал безотчетный страх.

## 7. Робинсон торжествует

Когда Шейла попросила Робинсона вернуть ей рукопись, он рассыпался в похвалах. Почему она не писала раньше? Это произведение небольшое, но ей следует продолжать. Он всегда предполагал, что у нее есть талант. Теперь, когда этот талант обнаружился, она должна быть готова к жертвам.

Рассказывая все это мне, она была в таком же замешательстве и так же смущена, как в тот раз, когда призналась, что позволила ему лстивыми уговорами вытянуть у нее рукопись. Она никогда не умела выслушивать похвалы в свой адрес, если это не были комплименты ее внешности. Слушая Робинсона, она чувствовала себя и окрыленной – для этого она была достаточно тщеславной – и в то же время униженной.

Однако двуличности в его поведении не было; он восхвалял ее с настойчивостью, какой не проявлял с тех пор, как вырвал у нее обещание помочь. Его слова не были приманкой, за которой скрывается крючок. Значит, ее предчувствия в ту ночь, когда она лежала в моих объятиях, оказались обманчивыми.

Через две недели наступила перемена. Появились новые слухи, более подробные и более похожие на правду, чем прежние. Говорили, что Шейла вложила деньги в фирму Робинсона (в одном варианте, который дошел до меня, дей-

ствительная сумма была утроена) вовсе не для того, чтобы помочь литературе или прослыть щедрой. Оказывается, она поддерживала его только потому, что сама написала какую-то ерунду и решила, что таким образом легче всего опубликовать написанное.

Вот это Робинсон во всей своей красе, подумал я, услышав эту историю, и чересчур правдивую, и чересчур ловко состряпанную; он торжествует, что ему удалось разоблачить «притворство». Некоторым женщинам, подумал я также, этот слух показался бы совершенно безобидным. Шейле же... Но я твердо решил не дать ей возможности оценить его. Я тотчас позвонил Робинсону и, узнав от жены, что его целый вечер не будет дома, назначил встречу на утро следующего дня. На этот раз я решил перейти к угрозам.

Но я опоздал. Придя домой, я застал Шейлу в гостиной; она ничего не делала. Не читала, не думала над шахматами, даже не проигрывала свои пластинки, она просто сидела, казалось, не двигаясь с места уже много часов, и неотрывно смотрела во тьму январской ночи за окном.

Когда я поздоровался с нею и сел возле камина, она спросила:

– Слышал про его очередные подвиги?

Она говорила ровным и бесстрастным тоном. Притворяться было бесполезно.

– Да, – ответил я.

– Подаю в отставку, – сказала она.

– Рад слышать, – заметил я.

– Я старалась изо всех сил, – продолжала она без всякого выражения.

Тем же ровным, бесстрастным тоном она попросила меня закончить все ее дела. Она не хочет более видаться с Робинсоном. Ей безразлично, что с ним будет. Ее воля сломлена. Если мне удастся, я могу также получить обратно ее деньги. Ей все равно.

Говоря все это – о прекращении своих отношений с Робинсоном она рассуждала так же равнодушно, как если бы речь шла о расходах за прошлую неделю, – Шейла указала на камин, где лежали кучи пепла и несколько обгорелых клочков бумаги.

– Я тут кое с чем покончила, – сказала она.

– Этого не нужно было делать! – воскликнул я.

– Этого не нужно было и начинать, – возразила она.

Она сожгла все: и рукописный экземпляр, и две отпечатанные на машинке копии. Но, несмотря на свое нелепое, чудовищное упорство, она обнаружила, что сделать это не так легко, как ей казалось. Кучи пепла в камине свидетельствовали о долгих часах, проведенных перед огнем, пожиравшим один за другим ее труды. В конце концов ей пришлось бросить большую часть бумаг в топку. Даже в тот вечер это показалось ей немного забавным.

Как бы то ни было, она уничтожила все следы так тщательно, что мне никогда не довелось прочитать ни одной на-



писанной ею строки, и я даже не узнал, что это была за книга. Много лет спустя я встретил мисс Смит, которая когда-то служила у Робинсона секретаршей, и она сказала, что просматривала рукопись Шейлы. По ее словам, текст рукописи состоял в основном из афоризмов с несколькими вставками, напоминающими маленькие пьески. Ей это показалось занятым, хотя и трудным для чтения.

На следующий день, после того как Шейла сожгла свою рукопись, я встретился с Робинсоном. В мансарде на Мейден-лейн небо так плотно надвинулось на окно, что, когда я вошел, Робинсон зажег единственную лампочку под потолком.

– Как поживаете, сэр? – спросил он. – Рад, что вы избавились от боли, она, наверное, порядком измучила вас.

Обходительный и сердечный, он заставил меня сесть в удобное кресло и подложил подушку, чтобы облегчить боль, которая терзала меня полгода назад. Он поглядывал на меня подозрительно, но глаза у него были скорее испуганные.

– Я пришел сюда по собственной инициативе... – начал было я.

– Рад вас видеть в любое время, когда у вас нет на примете ничего лучшего, сэр, – перебил Робинсон.

– Но, в сущности, дело касается моей жены.

– Я не видел ее две или три недели. Как она поживает?

– Она намерена, – сказал я, – прекратить всякие отношения с – вами, с так называемой вашей фирмой и со всем, что

касается вас.

Робинсон вспыхнул точно так, как у нас на обеде. Это было единственное, что его всегда выдавало. Доверительно, почти весело он спросил:

– Не кажется ли вам, что это было необдуманное решение?

Со стороны он казался, наверное, старым, добрым приятелем, который знал всю мою жизнь, все мои невзгоды из-за психически неуравновешенной жены.

– Я бы и сам посоветовал ей принять такое решение.

– Что ж, – сказал Робинсон, – не хотелось бы касаться больных мест, но согласитесь, что я вправе просить объяснения.

– Вы считаете, что заслужили его?

– Сэр, – вспыхнул он, словно оскорбленный в своих лучших чувствах. – Я не считаю, что ваше и мое положение в среде интеллигенции дает вам право говорить со мной подобным тоном.

– Вы прекрасно знаете, почему моя жена прекращает всякие отношения с вами, – сказал я. – Вы причинили ей слишком много зла. Больше она не в силах терпеть.

Он участливо улыбнулся мне, негодование его как рукой сняло.

– Зла? – переспросил он. – Зла, – задумчиво повторил он, словно взвешивая справедливость этого слова. – Мне было бы легче, если бы вы хоть намекнули, в каком зле вы меня

обвиняете.

Я ответил, что он распространял о ней злостную клевету.

– Не забывайте, – заметил он дружески весело, – не забывайте, вы адвокат и должны осторожней обращаться со словами.

Я сказал, что его клевета насчет рукописи Шейлы довела ее до болезни.

– Неужели вы в самом деле думаете, – сказал он, – что здравомыслящий человек стал бы вести себя так неумно, как, по вашим словам, веду себя я? Неужели вы думаете, что я способен распускать сплетни о человеке, который меня поддерживает? Да и клеветать самым глупым образом – ведь на те деньги, которые она мне одолжила, она могла бы несколько раз переиздать свою книгу. Прошу извинить меня, но я боюсь, что неуравновешенность Шейлы передалась и вам.

На мгновение его учтивое благоразумие, умение приписать свои поступки больному воображению Шейлы, его явное благодушие заставили меня замолчать.

– Да, – сказал он, – боюсь, вам передалось настроение бедняжки Шейлы. Это, наверное, начало шизофрении, не так ли?

– Не вижу необходимости обсуждать с вами состояние здоровья моей жены, – сказал я. – Полагаю, нет смысла обсуждать и ваши мотивы.

– Что касается ее рукописи, – перебил он, – уверяю вас,

у нее есть определенные достоинства. Конечно, я не думаю, что Шейла когда-нибудь станет профессиональным писателем, но у нее встречаются оригинальные мысли, — быть может, потому, что она несколько отличается от большинства из нас, вы не согласны?

— Мне больше нечего вам сказать, — ответил я. — Остается только договориться, когда вы сможете вернуть деньги моей жены.

— Я боялся, что у нее может возникнуть такое подозрение...

— Это решено, — перебил я его.

— Разумеется, — подхватил Робинсон с веселым, искренним смехом. — Как только вы вошли в комнату, я понял, что вы это скажете.

Я был взбешен до предела. Меня бесило, что мои слова не производят на него никакого впечатления. Будь он помоложе, я бы его ударил. Он с насмешливым участием разглядывал меня своими маленькими слоновьими глазками; пробор в его почтенных седирах был прочерчен с геометрической точностью.

— Вы нанесли ей травму, — сказал я, окончательно отчаявшись, и тут же пожалел о своих словах.

— Травму? — переспросил он. — Из-за ее дружбы со мной? Какую же травму?

Он недоуменно развел руками.

— Но вы правы: сейчас не время и не место обсуждать

неприятности бедняжки Шейлы. Вы пришли за ее деньгами, не так ли? Всегда покоряйся неизбежному – я горячо в это верю. Не считаете ли вы, что нам пора перейти к делу?

Я снова удивился. Когда я сидел возле его стола, слушая отчет о его соглашении с Шейлой и нынешнем положении вещей, я понял что это человек необычайно щепетильный в отношении денег и, насколько я мог судить, честный. Правда, умело храня свои собственные секреты, он скрыл от меня, как прежде скрыл от Шейлы, некоторые источники своих доходов и перспективы на получение денег. Каким-то образом у него остались средства, чтобы сохранить свою контору и платить мисс Смит, но первые «оттиски» пришлось отложить до осени. И вдруг мне пришло в голову: не рад ли он этому предлогу? Мечты, намерения и разговоры о восстановлении былой славы – это одно. А вот привести эти мечты в исполнение – дело другое. Быть может, он был рад, что все затягивается.

Однако он не проявил никакого стремления медлить с возвращением денег. Он предложил тотчас же выписать чек на триста фунтов, а остальное возратить равными частями в два срока – первого июня и первого сентября.

– Проценты? – сияя, спросил он.

– Она не возьмет.

– Наверное, не возьмет, – согласился Робинсон с удивлением.

Затем он предложил, чтобы мы немедленно отправились к

его поверенному. «Не люблю откладывать», – заявил Робинсон, надевая широкополую шляпу и старое пальто, отороченное мехом на воротнике и рукавах. Гордясь своей быстротой в действиях, приличествующей, по его мнению, настоящему дельцу (по существу между ним и настоящим дельцом было столько же общего, сколько между Полем Лафкином и каким-нибудь зулусом), он величественно шествовал рядом со мной по Ковент-Гарден, хоть не доставал мне и до плеча. Дважды с ним здоровались какие-то служащие издательств или посреднических контор. Робинсон торжественно взмахивал своей широкополой шляпой.

– Доброе утро, сэр, – приветливо кричал он им с едва заметным оттенком покровительства; именно так Р.-С.Робинсон, издатель изысканной литературы, мог приветствовать их в 1913 году.

Его лицо розовело румянцем в тусклом свете серого утра. Он выглядел счастливым. Любому Другому человеку такое поведение показалось бы нелепым: сначала пустить в ход всю свою хитрость, все уловки, чтобы найти благодетеля, а потом с помощью таких же хитроумных уловок избавиться от него. Впрочем, с ним это случалось, видимо, не в первый раз; такой образ действий доставлял ему наслаждение. Чувство злорадства, радость мести тому, кто имел наглость отнестись к нему снисходительно, – за это стоило платить и подороже, чем платил он сам.

Нет, думал я, вдыхая в сыром воздухе запах яблок и се-

на и глядя на Робинсона, шагавшего с почтенным видом человека, направляющегося на важное свидание, дело не только в удовольствии отомстить благодетелю. Его вдохновляло нечто более загадочное. Мечь, да, но не Шейле, не просто какому-нибудь благодетелю, а всей жизни.

Возвратившись домой, я услышал музыку – Шейла ставила пластинки. Это меня обеспокоило; и беспокойство мое усилилось, когда я застал Шейлу не в гостиной, не в спальне, а в комнате, где я провел памятный день мюнхенских событий: она считала эту комнату несчастливой. На столе стояла пепельница, в ней валялось, наверное, не меньше тридцати окурков. Я начал было рассказывать о моей встрече с Робинсоном.

– Не хочу больше слышать об этом, – сказала она хрипло и равнодушно.

Я попытался развеселить ее, но она повторила:

– Не хочу больше слышать об этом.

И поставила новую пластинку, вычеркивая из своих мыслей не только Робинсона, но и меня.

## 8. «Ты сделал все, что мог»

Летом я почти не разлучался с Шейлой. Мы ждали что вот-вот начнется война. Каждую ночь я проводил у нас в спальне чего не случалось уже несколько лет, на моих глазах она спокойно слала не вскакивая то и дело, и спокойно просыпалась. Как только началась война, я решил, что буду жить подле нее в нашем доме в Челси столько, сколько будет суждено.

За все время нашего брака мы никогда не были так безмятежны, почти счастливы, как в эти сентябрьские ночи. Теперь я возвращался домой не из Милбэнка, а из Уайтхолла, потому что вновь поступил на государственную службу, и проходил по набережной в восемь часов вечера, а то и позже; воздух был все еще теплым, а небо сияло огненным заревом циклорамы. Шейла как будто радовалась моему возвращению. Она даже интересовалась моей работой.

Мы сидели в саду, вечера казались такими мирными, как будто не было войны, и она расспрашивала меня о нашем министерстве, о том, что делает министр, насколько он под башмаком у своих служащих и что делаю я в качестве одного из его личных помощников. Я посвящал ее в мои заботы и тревоги, чего уже давно не делал. Она смеялась надо мной, говоря, что я «удачник» и что мне не стоит особенного труда пробивать себе путь.



Я был слишком поглощен своей новой работой, чтобы уловить, когда и как это настроение изменилось. Только много недель спустя я понял, что все это время ее не покидала мысль о наступлении последней минуты, острой, как боль в сломанной кости, как ощущение неумолимой неизбежности ее. Я знал лишь, что в сентябре, когда все было безоблачно, она, тайком от меня, договорилась где-то о работе с первого января. Там требовался человек, хорошо знающий французский язык, а она его знала, и работа эта показалась ей очень подходящей. Она рассказывала мне о ней с удовольствием, чуть ли не с волнением.

– Наверное, в конце концов это окажется все тот же Робинсон, – сказала Шейла, но в словах ее не было горечи. Она смеялась над собой – верный признак того, что чувствовала себя бодро и уверенно.

Вскоре после этого разговора, недели две спустя, я, приходя вечером домой, снова стал обнаруживать в ней признаки угнетенности, хорошо знакомые нам обоим. Заметив их в первый раз, я расстроился и почувствовал раздражение; мне не хотелось отвлекаться. Я принялся, как делал это раньше, успокаивать ее. Убедил оторваться от пластинок и лечь в постель; потом разговаривал с ней в темноте, уверяя, что это пройдет, как проходили прежде более тяжелые приступы; рассказывал о других, чья жизнь тоже омрачена страхом, – ей становилось немного легче, когда она слышала, что и другие страдают, как она. Все это говорилось уже не раз, и

оба мы эти слова утешения знали наизусть. Мне иногда казалось, что стоит только пожить бок о бок с таким человеком, как Шейла, и поймешь, как упорно и неотступно страдание.

Все это время я заботился о ней рассеянно, просто по привычке; мне казалось, что все идет, как бывало не раз. Я не замечал ухудшения в ее состоянии, не видел, как далеко зашла болезнь. Однажды она сама пыталась поговорить со мной, но я и тогда не обратил внимания на ее слова.

Как-то ночью, в начале ноября, проснувшись, я почувствовал, что ее нет в постели. Я прислушался к звукам в соседней комнате: там чиркнула спичка. В этом не было ничего необычного, потому что в бессонные часы она бродила по дому и курила — я не выносил запаха табака в спальне. Скрип двери, чирканье спички, звук шагов в коридоре — все это не раз будило меня, и я не мог заснуть, пока она снова не ложилась. И в этот раз все было так же, и снова я, как обычно, ждал ее и не засыпал. Наконец скрипнула дверь, зашелестели простыни, застонали пружины кровати. Слава богу, подумал я, можно спать и, довольный, спросил по привычке:

— Все в порядке?

С минуту она молчала, потом донесся ее голос:

— Как будто.

Я очнулся, словно от толчка, и переспросил:

— Ты уверена, что все в порядке?

Наступило долгое молчание. Потом из темноты снова голос:

– Льюис!

Она очень редко, обращаясь ко мне, называла меня по имени.

– Что с тобой? – отозвался я, уже готовый успокоить ее.

Ответ прозвучал тихо, но твердо:

– Мне плохо.

Я тотчас зажег ночник и подошел к ней. Я видел ее бледное и неподвижное лицо в тени, потому что стоял между нею и лампой, загораживая свет. Обняв ее, я спросил, в чем дело.

И вдруг гордость и мужество изменили ей. Из глаз ее хлынули слезы, и лицо мгновенно стало увядшим, некрасивым, оно словно расплылось на глазах.

– В чем дело?

– Я все время думаю о первом января.

Она имела в виду работу, которую должна была начать.

– Ах, вот оно что! – сказал я, не в силах скрыть облегчение и откровенную скуку.

Мне следовало бы знать, что любой повод мог вызвать у нее тревогу, но я знал также, что нет ничего скучнее тревоги, которую не разделяешь.

– Ты должен понять! – воскликнула она, и это прозвучало необычно, как мольба.

Я старался говорить возможно внушительнее. Вскоре – в таком состоянии ее легко было убедить – она мне поверила.

– Ты ведь понимаешь, да? – спросила она, сразу перестав плакать; она говорила взволнованно, совсем не так, как го-

ворила обычно. — На днях, в следующий понедельник, будет три недели, вечером, когда принесли почту, я вдруг поняла, с первого января я начну чувствовать то же самое, что было из-за Робинсона. Ведь это непременно будет так, ты тоже это знаешь, да? Все опять начнется сначала и станет сгущаться вокруг меня все больше с каждым днем.

— Послушай, — сказал я, осторожно уговаривая ее, ибо давным-давно нашел способ, который больше всего на нее действовал, — быть может, неприятности действительно будут, но совсем другого рода. На свете ведь есть только один Робинсон.

— И только одна я, — сказала она с какой-то отчужденностью. — Мне кажется, я сама виновата в своих неудачах.

— Право, не думаю, — ответил я. — Робинсон и со мной вел себя точно так же.

— Сомневаюсь, — сказала она. — От меня никогда никому не было пользы. — Ее лицо было взволнованным и умоляющим. — Ты понимаешь, среди новых людей меня ждет все та же западня.

Я покачал головой, но тут она отчаянно закричала.

— Говорю тебе, я поняла это еще в тот день, после того как принесли почту, в ту же секунду, говорю тебе, что-то произошло в моей голове.

Она дрожала, хотя больше не плакала. Сочувственно, но со спокойствием человека, который слышал все это уже не раз, я стал расспрашивать, что она чувствует. Часто в состоя-

нии возбуждения она жаловалась, что голова ее словно сдавлена тисками. На этот раз она ответила, что с того дня ее голову все время что-то сжимает, но ничего не хотела рассказать толком. Я решил, что ей стало стыдно, потому что она явно преувеличивала. Я тогда не понимал, что она, как говорят медики, во власти мании. Мне и в голову не приходило, когда я убеждал ее и даже шутливо поддразнивал, насколько ее рассудок больше ей не принадлежал.

Я напоминал ей, как часто ее страхи оказывались чепухой. Я строил для нас обоих планы на будущее, когда кончится война. Потом дрожь прошла, я дал ей таблетку из ее лекарств и сидел возле нее, пока она не уснула.

На следующее утро, хоть и не совсем еще придя в себя, она говорила о своем состоянии вполне спокойно (употребляя привычную формулу: «Около двадцати процентов страха сегодня») и, казалось, чувствовала себя гораздо лучше. Вечером она снова была возбуждена, но хорошо спала ночью, и только через несколько дней все повторилось опять. Теперь я должен был каждый вечер держать себя в руках. Иногда наступали перерывы, порой она целую неделю была относительно спокойна, но я напряженно ждал признаков нового приступа.

Работа в министерстве отнимала все больше времени и внимания; министр привлекал меня к участию в ответственных переговорах, где требовалась полная собранность мыслей и нервов. Когда я уходил утром из дому, мне страшно

хотелось заставить себя забыть о Шейле на весь день, нечасто во время особо важного официального разговора мысль о ней неумолимо влезала в мой мозг и отделяла меня от собеседника, которого я пытался в чем-то убедить.

Не раз испытывал я чувство горькой досады по отношению к ней. Едва став моей женой, она отняла у меня всю мою энергию и выдержку, испортила мою карьеру. Теперь, когда мне представился случай наверстать упущенное, все начиналось снова. Но это чувство горечи жило во мне рядом с жалостью и любовью, почти смешиваясь с ними.

Первую неделю декабря я был очень занят одним заданием. Однажды, около половины шестого, когда я рассчитывал поработать еще час-другой, раздался телефонный звонок. Я услышал голос Шейлы, звенящий и далекий.

– Я простудилась, – сказала она. И продолжала: – Ты не мог бы прийти домой пораньше? Я приготовлю тебе чай.

Она вообще никогда не звонила мне и, уж конечно, никогда не просила побыть с ней. Для нее это было так непривычно, что она вынуждена была начать с пустяка.

Что-то неладно, решил я, бросил работу и на такси помчался в Челси. Но оказалось, что, хоть она снова была угнетена и рот ее беспрерывно подергивался от тика, ничего особенного не случилось. Она заставила меня приехать домой, чтобы я облегчил ее страдания, вновь переворошив все те же постоянные темы наших бесед: Робинсон, первое января, ее «срыв». С трудом подавляя раздражение, я тупо буркнул:

– Все это мы уже обсуждали.

– Я помню, – ответила она.

– Ты ведь знаешь, – равнодушно произнес я, – проходило кое-что и пострашнее, пройдет и это.

– Пройдет? – Она улыбнулась полудовверчиво, полупрезрительно и вдруг разразилась: – У меня нет цели. У тебя цель есть. Ты не можешь сказать, что у тебя ее нет. – И закричала: – Я же говорила, что подаю в отставку.

Я устал от всего этого и не в силах был утешить ее; меня разозлило, что она оторвала меня от дела, а так хотелось его закончить. Она настолько ушла в себя, что моя жизнь, кроме той ее части, которую я тратил, чтобы поддерживать в ней силы и бодрость, совершенно не интересовала ее. Мы сидели в гостиной у камина. И я услышал, что произношу те же слова, какие произнес много лет назад в ее бывшей комнате. Ибо именно там, в тот первый и единственный раз, когда я попытался расстаться с ней, я сказал, что наша совместная жизнь становится трудной для меня. Теперь я почти точно повторил эти слова.

– Мне трудно, – сказал я, – так же, как и тебе.

Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Быть может, и ей вспомнился тот разговор, не знаю. А возможно, она слишком ушла в себя, чтобы это заметить; или была уверена, что после всего нами пережитого, после всех перемен, мне больше и в голову не придет оставить ее.

– Мне трудно, – повторил я.

– Наверное, – отозвалась она.

Тогда я мог объяснить, что должен уйти ради самого себя. Теперь же мы оба знали – я не в силах этого сделать. Пока она здесь, я вынужден тоже оставаться здесь. Я решился лишь сказать:

– Постарайся, чтобы мне было легче.

Она не ответила и долго смотрела на меня с каким-то странным выражением. Наконец она сказала сурово и твердо:

– Ты сделал все, что мог.



## 9. Прощание утром

До двадцатого декабря никаких заметных перемен не было. Эти дни в то время не казались мне более значительными, чем остальные. Позже, когда я пытался вспомнить каждое слово, сказанное нами, я вспоминал также ее отчаяние по поводу первого января и новой работы. Она все еще была слишком горда, чтобы просить меня напрямик, но всем существом своим молила найти какой-нибудь предлог и избавиться ее от этой обязанности.

Бывали у нее такие же внезапные приступы активной деятельности, как и прежде. Она надевала плащ, хотя погода была уже совсем зимняя, бродила весь день по набережной, спускалась к докам, мимо Гринвича, вдоль залежей шлака и возвращалась домой, покрасневшая от холода; такой она, вероятно, в юности приезжала с охоты. Вечерами она бывала весела, радуясь своей бодрости. Она выпивала со мной бутылку вина и после обеда ложилась спать, слегка захмелевшая и приятно усталая. Я не верил в эти вспышки жизнерадостности, но и не очень верил в ее полное отчаяние. Когда я за ней наблюдал, мне казалось, что оно не захватило ее целиком.

Ее настроение не переходило в депрессивные фазы, как у моего приятеля Роя Кэлверта, а менялось ежечасно; точнее, оно могло измениться в любую минуту. Оно не было цель-

ным, и в речах ее порою не чувствовалось цельности сознания. Но так бывало и прежде, хоть и не ощущалось остро. Временами она шутила, и тогда я испытывал огромное облегчение. Этот период ничем не отличается от других ему подобных, думал я; мы оба должны пройти через него, как проходили и в прошлые годы.

В сущности, я вел себя так, как и всякий другой вел бы себя на моем месте в критическую минуту: я делал вид, будто могу сколько угодно терпеть нынешнее положение вещей, но время от времени, сам того не сознавая, каким-то внутренним чутьем ощущал опасность.

Однажды я улизнул с заседания и открыл душу Чарльзу Марчу, одному из близких друзей моей молодости; теперь он работал врачом в Пимлико. В выражениях, гораздо более резких, чем в беседах с самим собою, я рассказал ему, что у Шейлы сейчас состояние острой возбужденности, и описал это состояние. Есть ли смысл приглашать еще одного психиатра? Вся беда в том, что Шейла, как он знал, уже обращалась к врачу и, высмеяв его, отказалась от его услуг. Чарльз пообещал подыскать какого-нибудь врача, не менее умного и волевого, чем она, которому она согласилась бы довериться.

– Впрочем, сомневаюсь, что врач вообще сможет ей помочь, – качая головой, заметил он. – Все, что он в состоянии сделать, – это снять с тебя часть ответственности.

Двадцатого декабря Чарльз позвонил мне на работу и назвал фамилию и адрес врача. Это произошло в тот самый

день, когда я завершал мою первую значительную работу в министерстве – работу, от которой двумя неделями раньше Шейла отвлекла меня своим звонком. Утром у меня были три посетителя, днем – заседание комиссии. Я добился успеха, я был окрылен и написал доклад моему шефу. Потом я позвонил врачу, которого рекомендовал Чарльз. Мне ответили, что его сейчас нет и вообще он будет занят еще недели две, но сможет принять мою жену в самом начале января, скажем, числа четвертого. Я согласился и, предчувствуя, что придется отложить работу на день-два, чтобы ухаживать за Шейлой, позвонил домой.

Услышав ее голос, я испытал неизъяснимое облегчение.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я.

– По-прежнему.

– Ничего не случилось?

– А что могло случиться? – Ее голос стал более резким. – Мне нужно тебя видеть. Когда ты придешь?

– С утра ничего не изменилось?

– Нет, но мне нужно тебя видеть.

По ее тону я понял, что ей совсем плохо, но старался заставить ее, как делают иногда люди при виде чужих страданий, признать, что ей не так уж плохо.

До моего слуха донеслись слова, сказанные без всякого выражения:

– Я еще могу справиться с собою. – Она добавила: – Я хочу тебя видеть. Ты скоро придешь?

Когда я вошел в прихожую, она уже ждала меня там. И не успел я снять пальто, как она начала говорить. Мне пришлось обнять ее за плечи и увести в гостиную. Она не плакала, но я чувствовал, что она вся дрожит, — симптом, который пугал меня больше всего.

— Сегодня был плохой день, — жаловалась она. — Не знаю, смогу ли я продолжать. Нет смысла продолжать, когда так тяжело.

— Потом будет легче, — сказал я.

— Ты уверен?

Я машинально принялся успокаивать ее.

— Неужели я должна продолжать? А может, мне сказать им, что я не приду первого января?

Так вот что она имела в виду под словом «продолжать». Она говорила так, когда пыталась любым путем избежать этого «испытания», такого страшного для нее и такого ничтожного для любого другого человека.

— Думаю, не стоит, — ответил я.

— Для них ведь это не будет большим осложнением.

Ее слова звучали почти как мольба.

— Послушай, — сказал я, — отказавшись от работы, ты замкнешься в себе и откажешься от своего будущего, понимаешь? Лучше тебе пройти через это, даже если будет очень тяжело. А потом все уладится. Не надо сдаваться.

Я говорил сурово. Я верил в то, что говорил. Если она не выдержит этого испытания, болезнь сломит ее. Я наде-

ялся хоть жестокой правдой убедить ее. Но слова мои были вызваны и эгоистическими соображениями. Я хотел, чтобы она пошла работать, была бы хоть чем-нибудь занята и хоть немного развязала мне руки. Втайне я надеялся, что январь принесет мне освобождение.

Я намеревался сказать ей про доктора, которого рекомендовал Чарльз Марч, и о том, что я договорился о приеме. Но потом решил промолчать.

– Тебе следует пройти через это, – повторил я.

– Я знала, что ты так скажешь.

Она улыбнулась, на этот раз не горько, не машинально, а совсем по-другому; на мгновение лицо ее стало юным, открытым, вдохновенным.

– Прости, что я доставляю тебе столько хлопот, – сказала она удивительно просто. – Было бы лучше, если бы я окончательно свихнулась, правда?

Ей вспомнилась ее знакомая, которая сразу разрешила все свои проблемы, попав в психиатрическую клинику, и теперь была счастлива и спокойна.

– До этого у меня как-то не доходит. А следовало бы позаботиться обо всем самой, не причиняя тебе таких мучений.

Я был тронут ее словами, но, все еще пытаюсь укрепить ее решимость, не улыбнулся и не проявил к ней особой нежности.

В тот вечер мы сыграли две-три партии в шахматы и рано легли спать. Она спала спокойно, а утром встала к завтраку

вместе со мной, чего прежде не бывало. Она сидела напротив меня, и лицо ее без косметики казалось еще более измученным и почему-то более молодым. Она ни словом не обмолвилась о нашем вчерашнем разговоре и, казалось, с искренней непринужденностью весело болтала о предстоящем мне вечере. Гилберт Кук пригласил меня пообедать в его клубе. Я сказал, что возвращаться в Челси в полнейшей темноте, да еще изрядно выпив, не очень-то приятно. Не лучше ли мне остаться ночевать в своем клубе?

– Сколько же тебе придется выпить? – спросила Шейла, вдруг заинтересовавшись поведением мужчин, – любопытство, которое можно заметить у более молодых жизнерадостных женщин, не страдающих застенчивостью и воспитанных в семье, где не было сыновей.

Так, беспечно подтрунивая друг над другом, мы попрощались. Я ее поцеловал, она проводила меня до двери и стояла там, пока я шел по саду. У ворот я обернулся и помахал ей, а она улыбнулась, прямая, стройная и сильная. Я отошел уже слишком далеко, чтобы разглядеть ее лицо, но мне показалось, что выражение его было одновременно и дружелюбным и насмешливым.

## 10. В комнате нет письма

В тот же вечер мы с Гилбертом Куком славно пообедали в ресторане Уайта. Он пригласил меня с определенной целью, но хоть и умел без стеснения вмешиваться в чужие дела, сам никак не мог начать разговор о собственных заботах, и мне пришлось прийти ему на помощь. Он сразу почувствовал себя легко и свободно, как человек, у которого неприятная обязанность уже позади. Он заказал новую бутылку вина и стал говорить более откровенно и с большей настойчивостью.

Одолжение, о котором он просил, не показалось бы обременительным большинству людей. Выяснилось, что он всеми силами старался попасть в армию, но его не брали, потому что он когда-то перенес трепанацию черепа. Гилберту было стыдно и горько. Он хотел воевать, хотел искренне, как многие люди нашего возраста лет двадцать пять назад; в 1939 году взгляды и настроения изменились; большинство людей, оказавшихся в положении Гилберта, благословляли свою судьбу, он же чувствовал себя ущемленным.

Впрочем, к этому времени он успел примириться с отказом, но раз уж ему не пришлось воевать, он хотел по крайней мере участвовать в войне каким-то другим образом. Остаться у Поля Лафкина?

– Зачем я ему нужен? – спрашивал Гилберт Кук подозри-

тельно, бросая на меня понимающий горячий взгляд.

– Наверное, от вас есть толк.

– Нет, собака зарыта гораздо глубже. Я бы не пожалел пятидесяти фунтов, чтобы узнать истинную причину.

– А почему, собственно, ему не хотеть, чтобы вы оставались у него?

– Неужели вы не понимаете, что он рассчитывает наши возможности на пять ходов вперед?

Лицо Гилберта блесло; он наполнил свой стакан и пододвинул бутылку ко мне. Я все еще не догадывался, чего он от меня хочет (все это казалось мне какой-то глупой игрой в заговор), но зато сообразил нечто другое: хотя Гилберт в присутствии Поля Лафкина держался независимым спорщиком, в душе он был чрезмерно впечатлительным; он бесцеремонно давал Лафкину советы, а в действительности считал его великим человеком, и поэтому Лафкин испытывал удовольствие от того, что ему не льстят, чувствуя себя в то же время глубоко польщенным.

Однако, хоть Гильберт и подпадал под влияние людей с сильным характером, он был в то же время человеком искренним и настоящим патриотом. Страна воевала, он же, работая у Лафкина, приносил весьма мало пользы, несмотря на то, что старался изо всех сил. И вот этот обильный холостяцкий обед, этот уклончивый разговор привели всего лишь к скромному вопросу, который он по своей застенчивости решился выразить лишь намеком.



– Одним словом, – сказал я наконец, – вам хотелось бы получить работу в государственном учреждении?

– Да, если возможно.

– А почему бы и нет?

– Видите ли, я не так умен, как эта каста, поэтому не уверен.

Я понимал, что очень скоро способные, энергичные мужчины в возрасте тридцати пяти лет с хорошим университетским образованием, навсегда освобожденные от воинской повинности, будут в большом спросе. Я так ему и сказал.

– Я поверю, когда увижу это собственными глазами, – ответил Кук.

– Не сомневаюсь, что вас завтра же возьмут, и на хорошую должность.

– А откуда они знают, что я им пригожусь?

Немного разгоряченный вином, чуть раздраженный тем, что он не доверяет моему мнению, и вместе с тем растроганный его скромностью, я сказал:

– Послушайте, вы хотели бы работать со мной?

– А есть возможность?

– Я могу завтра же предпринять первые шаги.

Гилберт пытливо вглядывался в меня, боясь подвоха и стесняясь благодарить. С этой минуты ему хотелось провести вечер просто и по-товарищески. Коньяк у камина; почти откровенный разговор; чуть рискованные истории, обычные для мужчин за рюмкой любимого вина. В Гилберте меня по-

разило одно: он был человеком азартным, живым, деятельным, но в то же время удивительно чистым в своих рассказах, и, хотя с удовольствием говорил о женщинах, слова его были целомудренными.

На следующее утро я сидел за завтраком в своем клубе; угли в камине шипели и выбрасывали языки пламени, на столе в электрическом свете поблескивали еще сложенные газеты; на улице за окном тротуар казался серым от мороза. Голова у меня побаливала, но аппетита я не потерял, и в начале войны еще можно было вкусно поесть. Я съел жареные почки с беконом и принялся с удовольствием пить чай. Пламя камина отражалось в сером утреннем тумане за окнами. К столикам, разворачивая свои газеты, собирались знакомые. Было тепло и уютно, и я совсем не спешил звонить Шейле. В четверть десятого, подумал я, она встанет. Я с удовольствием выпил еще чашку чая.

Я набрал наш домашний номер; телефон прозвонил, наверное, раз двадцать, но я не встревожился, решив, что Шейла, должно быть, еще спит. Наконец я услышал голос миссис Уилсон:

– Кто это?

Я спросил, встала ли Шейла.

– О мистер Элиот, – донеслось еле слышное всхлипывание.

– Что случилось?

– Беда. Вы должны сейчас же приехать домой. Обязатель-

но.

Я понял все.

— Она здорова?

— Нет.

— Умерла?

— Да.

— Покончила с собой?

— Да.

Мне стало нехорошо, я весь как-то оцепенел; и услышал собственный голос:

— Как она это сделала?

— Должно быть, снотворное; возле нее валяется пустой флакон.

— Вы вызвали врача?

— Боюсь, она умерла уже давно, мистер Элиот. Я обнаружила это только десять минут назад и не знала, что делать.

Я сказал, что буду дома через полчаса и все сделаю сам.

— Так жаль бедняжку. Я очень к ней привязалась. Я была просто потрясена, увидев ее мертвой, — снова донесся голос миссис Уилсон, удивленный, печальный, обиженный. — Я была просто потрясена.

Я тотчас же позвонил Чарльзу Марчу. Мне нужен врач, которому можно доверять, решил я. Пока я ждал, мне вдруг пришло в голову, что ведь, в сущности, ни у меня, ни у Шейлы не было в Лондоне постоянного врача. Если не считать моего радикулита, мы были физически здоровыми людьми.

Чарльза на месте не оказалось, он ушел с визитом к какому-то больному. Я попросил передать ему, что он мне срочно нужен. Затем вышел и взял такси. Мимо, в морозном свете утра пронеслись пустынный парк, Эгзибишн-роуд, огни витрин у Саут-Кенсингтон Стейшн. Дважды меня чуть не вырвало от запаха кожи в машине. Моя боль, казалось, отодвинулась куда-то далеко; однако смутно, глухо я ощущал, что горе и раскаяние грызут меня, вызывая чувство невозвратимой утраты, переворачивая все внутри. И в то же время я испытывал эгоистичный и совершенно подлый страх. Я боялся, что ее самоубийство повредит мне; я старался не думать о том, как именно оно может повредить, но суеверный страх, смешанный с угрызениями совести, не оставлял меня ни на минуту. Это был острый, рассудочный и эгоистичный страх.

В прихожей меня встретила миссис Уилсон. У нее были красные глаза, она мяла в руках платок и попеременно прикладывала его то к одному, то к другому глазу. Но в поведении ее чувствовалось жадное любопытство человека, столкнувшегося с чужим несчастьем.

– Она не в спальне, мистер Элиот, – прошептала экономка. – Она сделала это в бывшей гостиной.

Случайно или намеренно Шейла выбрала эту комнату?

– Она оставила какие-нибудь письма? – тоже почти шепотом спросил я.

– Я ничего не нашла. Я, конечно, посмотрела вокруг, но не заметила в комнате и клочка бумаги. Я понесла ей чай,

мистер Элиот, постучала в дверь спальни, никто не ответил, я вошла, но там никого не было...

Хотя миссис Уилсон хотела идти со мной, я поднялся наверх один. Занавески в бывшей гостиной были задернуты не знаю кем, — быть может, это сделала перед самым моим приходом миссис Уилсон. В комнате царил полумрак, и меня охватил страх, уже знакомый мне: я испытал его в детстве, когда вошел в комнату, где лежал мой умерший дед. Прежде чем взглянуть на Шейлу, я раздвинул занавески; в комнату проник свинцовый свет пасмурного утра. Наконец я заставил себя посмотреть на диван.

Она лежала на спине, одетая в кофту и юбку, которые обычно носила дома днем; голова была чуть повернута к окну. Левая рука вытянулась вдоль тела, а правая лежала на груди, причем большой палец был оттопырен. Черты ее лица были как бы разглажены смертью, стали слегка расплывчатыми, словно лицо ее было сфотографировано через прозрачную ткань; ее щеки никогда не были впалыми, но теперь они стали округлыми, как у молодой девушки. Глаза были открыты и казались огромными, а на губах застыла извиняющаяся, жалкая, удивленная усмешка — так она улыбалась, когда не знала, как поступить и восклицала: «Ах, черт возьми!»

С одной стороны подбородка — от принятых таблеток — тянулась засохшая полоска слюны, словно она во сне пускала слюни.

Я долго не сводил с нее глаз. По выражению ее лица можно было понять одно: момент смерти не был для нее трагическим или страшным. Я к ней не прикоснулся; быть может, если бы она выглядела более несчастной, я бы это сделал.

Около дивана стоял столик вишневого дерева, как и вечером в день Мюнхена, когда она поставила на него флакон с аспирином для меня. Теперь на нем валялся другой флакон, пустой и без пробки – она, наверное, уронила ее на пол. Рядом с флаконом стоял стакан с водой, мутной от скопившихся за ночь пузырьков воздуха. Больше ничего. Она принесла сюда только флакон и стакан с водой.

Я принялся искать записку как заправский сыщик. В этой комнате, в спальне, у себя в кабинете я осмотрел все конверты среди выброшенных бумаг в надежде найти хоть строчку, оставленную родителям или мне. В ее сумке я нашел ручку, но в ней не было чернил. Бумага на ее письменном столе была совершенно чистой, Она умерла, не оставив ни слова.

Внезапно я испытал прилив гнева. Я смотрел на нее и злился. Я любил ее всю свою жизнь; я потратил на нее годы зрелости; я ее любил, она была моей собственностью, и мне было очень больно, что она ничего не оставила мне на прощание.

В ожидании Чарльза Марча я не оплакивал Шейлу. Меня лишь терзала мелочная обида на то, что она не подумала обо мне, мелочная обида да такой же мелочный страх перед грядущими днями. Я ждал и волновался: меня пугала встре-

ча с Найтами, необходимость идти на работу, даже встреча с друзьями.

## 11. Тоска в пустом доме

Пока Чарльз Марч ее осматривал, я пошел в спальню и стоял там, глядя в окно, не испытывая ничего, кроме страха и каких-то тяжелых предчувствий. Я не думал о Шейле, но старательно избегал смотреть на ее кровать, аккуратно застеленную, безукоризненно гладкую.

Я очнулся от шагов Чарльза, встретил озабоченный взгляд его умных, пронизательных глаз, и мы вместе пошли в кабинет.

– Это, конечно, большой удар для тебя, – сказал он. – И словами участия тут, разумеется, ничего не изменишь.

Последнее время мы с Чарльзом виделись довольно редко. Когда я бедным юношей впервые приехал в Лондон изучать право, он меня обласкал. Мы были ровесниками, но он был богат и имел влиятельных родственников. С тех пор образ его жизни изменился, он стал врачом. Когда мы встречались, между нами возрождалось прежнее взаимопонимание. Но в то утро он даже представить себе не мог, как мало я переживал и как мелки были мои переживания.

– Сомнений, конечно, нет? – спросил я.

– Ты ведь и сам это знаешь, – ответил он.

Я кивнул, и он сказал:

– Сомнений нет. Никаких. – И добавил, глядя на меня с острой жалостью: – Она все сделала с большим знанием дела.



У нее была очень сильная воля.

– Когда это произошло?

Я продолжал говорить спокойно. Он сочувственно изучал меня, словно ставил диагноз.

– По-видимому, вчера вечером.

– Да, – сказал я, – вечером меня не было дома. Честно говоря, я довольно весело проводил время в клубе.

– На твоём месте я бы не принимал это обстоятельство так близко к сердцу. – Он наклонился ко мне – глаза его блестели во мраке комнаты – и сказал: – Знаешь, Льюис, ей было гораздо легче умереть, чем тебе или мне. Она не была так привязана к жизни, как мы. Люди по-разному живут и по-разному умирают. Для некоторых умереть – все равно что плюнуть. Мне кажется, так было и с ней. Она просто выскользнула из жизни. Наверное, она даже не мучилась.

Ему Шейла никогда не нравилась, он считал, что она портит мне жизнь, но сейчас он говорил о ней с сочувствием.

– Тебе придется еще немало вытерпеть, – продолжал он. И добавил: – Беда в том, что ты будешь винить в этом себя.

Я не ответил.

– Что бы ты ни сделал и кем бы ты ни был, все равно это бы ей не помогло, – сказал он внушительно и твердо.

– Теперь это все равно, – отозвался я.

– Нет, не все равно, если ты намерен во всем винить себя. И тут уж тебе никто не поможет, кроме тебя самого.

Он строго смотрел на меня; он знал, что я не менее эмоци-

онален, чем он; ему и в голову не приходило, что чувства мои притупились. Стараясь помочь мне, он призывал на помощь все свое воображение; некоторое время он молчал, взгляд его оставался суровым и сосредоточенным, пока он не пришел к решению.

– Я могу сделать для тебя только одно, – помолчав, сказал он. – Немного, правда, но тебе станет легче.

– О чем ты говоришь?

– Еще кто-нибудь знает про это?

– Только миссис Уилсон, – ответил я.

– Она умеет держать язык за зубами?

– Возможно, – отозвался я.

– Ты ручаешься, что в случае необходимости она будет молчать?

Я ответил не сразу.

– В случае необходимости, пожалуй, будет.

Кивнув, Чарльз сказал:

– Тебе, наверное, станет еще тяжелее, если узнают другие. Мне во всяком случае было бы тяжелее. Тебе будет казаться, что людям известна вся твоя жизнь с ней и что они тебя осуждают. Ты и так собираешься взвалить на себя слишком большую ответственность, а это еще осложнит дело.

– Возможно, – ответил я.

– От этого я могу тебя избавить, – сказал он. И продолжал: – Конечно, это немного, но все же будет легче. Я готов подписать свидетельство о том, что она умерла естественной

смертью.

Чарльз был смелый человек и не боялся столкновений с жизнью. Возможно, он обладал той особой смелостью, той способностью трактовать законы морали по-своему, которая чаще всего встречается у людей, рожденных в богатстве. У него было два пути: стать лжесвидетелем, на что ему было гораздо труднее решиться, чем многим другим, или бросить меня на произвол судьбы, и он выбрал первое.

Я несколько не был удивлен. По правде говоря, обратившись к нему, хотя я мог бы обратиться к кому-нибудь из врачей, живущих поблизости, я подсознательно надеялся именно на это.

Соблазн был велик. Я мысленно прикинул все возможные затруднения: если это представляло какой-то риск для него, как для врача, я был не вправе согласиться. Мы оба подумали об этом, когда он меня спрашивал. Мог ли я ручаться за миссис Уилсон? Кто еще должен узнать правду? Найты, как только они приедут. Но они будут хранить тайну ради собственного спокойствия.

Я хорошо все обдумал, меньше всего заботясь при этом о своих собственных интересах. И вовсе не из-за практических соображений и не из-за нежелания подвергать Чарльза излишнему риску ответил:

- Не стоит.
- Ты уверен?
- Вполне.

Чарльз продолжал настаивать, пока не убедился, что я решил твердо. Тогда он сказал, что у него отлегло от сердца. Он ушел, чтобы выяснить, когда приедут составлять акт о смерти, а я позвонил Найтам. Я сообщил миссис Найт только факты и попросил их приехать в тот же день. Для человека в таком горе голос ее звучал чересчур уверенно и энергично, но она воскликнула: «Не знаю, как он это переживает».

В тот же день мне пришлось еще сидеть на заседании среди вежливых, здравомыслящих, чужих людей.

Дома – в декабре рано замаскировывали окна – я не находит себе места, пока не приехали Найты. Миссис Уилсон ушла за покупками, чтобы приготовить им обед, и я остался один в пустом доме. Вернее, не один, ведь в доме лежал покойник; дело было в другом: тоска угнетала меня, хотя я больше не заходил в бывшую гостиную.

Желая чем-нибудь заняться, я еще раз перебрал все книги Шейлы, перечитал письма, лежавшие в ящиках ее письменного стола, в тщетной надежде что-либо разузнать о ней. Случайно я действительно кое-что отыскал, но не среди книг и бумаг, а у нее в сумке. Ни на что не надеясь, я вытащил и перелистал ее карманный календарь; большинство страничек после ее последних встреч с Робинсоном в январе и феврале оставались незаполненными; с тех пор она почти ни с кем не виделась. Но на страничках осенних месяцев я увидел несколько слов – нет, не просто слова, а целые предложения.

Это был обычный карманный календарь, три дюйма в дли-

ну и два в ширину, и ей приходилось писать мелкими буквами, хотя обычно она писала красивым, размашистым почерком, как все дальнорзоркие люди. Там было всего семь записей, начинавшихся на листках октября месяца – через неделю после того дня, который она называла днем своего «крушения». Я стал читать и понял, что она писала это только для себя. Некоторые из записей повторялись.

«4 ноября. Уже десять дней, как в голове появилось странное ощущение. Ничего не выходит. Никто мне не верит.

12 ноября. Насчет 1 января все равно плохо. Безднадежно, после того, как в голове что-то произошло.

28 ноября. Сказал, что нужно продолжать. Зачем? Единственное утешение, что продолжать незачем.

5 декабря. Немного лучше. Может быть, смогу продолжать. Легче, когда я знаю, что это незачем».

И больше ни слова, но я впервые понял, какой навязчивой была ее мания. Я понял также, что она уже много недель думала о самоубийстве, думала и тогда, когда я пытался ее успокоить.

Возможно, еще восемь месяцев назад, когда она впервые сказала о том, что подает в отставку, в ее словах был намек. Хотела ли она, чтобы я ее понял? Нет, она и сама была не уверена, даже самой себе только намекала. Была ли она уверена третьего дня, когда я снова сказал ей, что она должна продолжать? Была ли она уверена за завтраком на следую-

щее утро, когда я в последний раз видел ее и она подшучивала надо мной?

Я слышал внизу шаги миссис Уилсон. Больше я не читал записи Шейлы. И не для того, чтобы собраться с мыслями, а просто из-за тоски, что давила меня в стенах этого дома, я вышел и побрел по набережной; стояла такая же тихая ночь, как накануне, когда я в состоянии полнейшей безмятежности прогуливался с Гилбертом Куком по Сент-Джеймс-стрит. Небо было темное, темной была река, темными были дома.

## 12. Запах лекарственного табака

Подходя к дому, я заметил тонкую полоску света, пробивавшуюся из затемненного окна гостиной, и как только оказался в прихожей, услышал резкий, крикливый, властный голос миссис Найт. Увидев меня, она замолчала; наступила тишина. Она говорила обо мне.

Мистер Найт сидел в кресле у камина, и она пододвинула диван поближе к нему. Ее глаза, не мигая, уставились на меня, он смотрел в огонь. Первым заговорил он.

– Извините, Льюис, что я не встаю, – сказал он, все еще не глядя на меня, и его вежливый шепот прозвучал зловеще в тишине комнаты. Так же вежливо он объяснил, что они приехали более ранним поездом и я, естественно, не мог ждать их в то время. Он по-прежнему не поднимал глаз, но выражение его лица было сдержанным и печальным.

– Ваша экономка показала нам... – продолжал он.

– Да.

Последние крохотные остатки боли и горя теперь совершенно исчезли. Я испытывал только чувство вины и непонятный страх.

– Она никому не оставила ни слова?.

– Нет.

– Ни вам, ни нам?

Я покачал головой.

– Не могу этого понять. Не могу.

Поверил ли он мне, подумал я, или решил, что я уничтожил записку? Миссис Найт, внезапно очнувшись от своего оцепенения, конечно, это заподозрила.

– Где вы были вчера вечером?

Я ответил, что не обедал дома. Веселый, беспечный вечер снова ожил у меня в памяти.

– Почему вы оставили ее одну? Неужели вам нисколько не было ее жаль?

Я не мог отвечать.

Почему я не заботился о ней? Миссис Найт обвиняла и угрожала. Почему в течение всей нашей совместной жизни я предоставлял ее самой себе? Почему я не выполнял того, что обещал? Почему я не потрудился понять, что она нуждалась в заботе? Неужели я не мог проявить к ней хоть каплю внимания?

– Нет, нет, он был к ней внимателен, – прошептал мистер Найт, все еще не поднимая глаз.

– Вы оставили ее одну в пустом доме, – продолжала миссис Найт.

– Он делал все, что было в его силах, – немного громче высказался в мою защиту мистер Найт.

Она была озадачена, даже немного растерялась, но вновь пошла в атаку.

– Прошу тебя, дорогая, – приказал он громко, и она замолчала. Затем мягко, как всегда в разговоре с нею, он до-



бавил, словно объясняя: — Это ведь и его горе. — И, искоса взглянув на меня, продолжал: — Когда я видел ее последний раз, — он имел в виду их приезд в Лондон полтора года назад, — я не мог избавиться от мысли, что она в плохом состоянии. Не помню, говорил ли я об этом вам, Льюис, или просто думал про-себя? Это было в последний раз, когда я ее видел. Если бы я тогда ошибался!

Сознание того, что он оказался человеком проницательным, более проницательным, чем я или кто-нибудь другой, доставляло ему явное удовольствие; даже в тот вечер его тщеславие на мгновение напомнило о себе.

— Зачем она это сделала? — гневно воскликнула миссис Найт, и я впервые увидел на ее глазах слезы.

— Мне нечем утешить тебя, дорогая, — сказал он. — И вас тоже.

Он вновь уставился в огонь, продолжая искоса наблюдать за мною. Любопытно, что при мне он ни разу не вспомнил об утешении, которое дает религия. В комнате слышно было лишь тиканье часов. Постепенно наступило то затишье, которое часто предшествует не только ссоре, но и всякому яростному взрыву чувств.

Нарушая молчание, миссис Найт спросила, будут ли составлять акт о смерти. Да, ответил я. Когда? Уже назначено на завтра, сказал я. Мистер Найт приподнял веки и взглянул на меня с таким выражением, будто хотел что-то сказать, но потом передумал. Затем он все же заметил, как бы между

прочим:

– Завтра днем? Я, конечно, ни от кого, кроме моего врача, не могу требовать заботы о моем здоровье, но мне нелегко это выдержать.

– Пока ты чувствуешь себя молодцом, – отозвалась миссис Найт.

– Будь Росс (его врач) здесь, он бы заявил, что я очень рискую, – продолжал мистер Найт. – Я совершенно уверен, что он запретил бы мне все это. Но он ничего и не узнает до тех пор, пока ему не придется вновь порядком со мной повозиться.

Совершенно ошеломленный, я воскликнул:

– Зачем же рисковать? Я могу все сделать сам.

– Ну что вы, разве мы можем вас покинуть! – вскричала миссис Найт.

А мистер Найт пробормотал:

– Конечно, мне не хотелось бы оставлять вас одного, ведь это значило бы возложить на вас всю тяжесть...

– Мы не можем, – перебила его миссис Найт.

Но мистер Найт продолжал:

– Мне неприятно думать об этом, Льюис, но в случае, в крайнем случае, если мое бедное сердце завтра днем совсем сдаст, вы уверены, что сумеете, если придется, обойтись без нас?

Значит, мистер Найт стремился только избавиться от волнений, предоставив мне самому справляться с бедой, хо-

тя его проницательность позволяла ему знать больше всех остальных, чем была для меня жизнь с Шейлой и в каком состоянии я находился в тот вечер; а миссис Найт, которая винила меня в неудачной жизни своей дочери и в ее смерти, всей душой понимала, что они обязаны до конца поддерживать меня, поддерживать хотя бы одним своим присутствием. Она чувствовала это так глубоко, что впервые позволила себе не думать о здоровье своего мужа.

Многие считали, — иногда и я разделял их мнение, — что, не потакая она его мнительности, он бы наполовину забыл о своих недугах и вел почти нормальный образ жизни. Мы ошибались. По природе своей грубый, простой человек, наделенный животной силой, она, несмотря на свою кажущуюся властность, всегда была и до сих пор находилась у него под каблуком. Это он щупал свой собственный пульс и подавал сигнал тревоги, а она из чувства долга и почтения лишь отзывалась на этот сигнал. Даже в тот вечер он не сумел подавить привычку повелевать, и несколько минут она злилась на него.

В конце концов он, разумеется, добился своего. Она вскоре поняла, что составление акта о смерти явится для его сердца чересчур большой нагрузкой; ей стало казаться, что именно он из чувства долга настаивает на том, чтобы присутствовать при составлении акта, а она обязана его отговорить; она должна запретить ему подобное легкомыслие, даже если без них мне будет очень трудно.

Поэтому я повторил, что справлюсь без них, и они решили утром уехать домой. Я не сказал им о предложении Чарльза Марча выдать мне фальшивое свидетельство, чтобы избежать составления акта. Хотел бы я знать, как бы мистер Найт убедил собственную совесть принять это предложение.

Так же витиевато, как обычно, мистер Найт спросил меня, какую, по моему мнению, огласку получит эта новость. Я равнодушно пожал плечами и ничего не ответил.

— Да-а, — протянул мистер Найт, — это заденет вас не меньше, если не больше, чем нас, верно?

Он угадал, но мне не хотелось в этом признаваться; и те минуты, когда эта мысль подавляла все остальные, были для меня самыми неприятными.

Возможно, фронтовые новости окажутся спасением для нас, рассуждал мистер Найт. Постараюсь поговорить со знакомыми журналистами, сказал я, сделаю все, что в моих силах, они же могут утром ехать домой.

Обиженно и в то же время с облегчением мистер Найт покровительственным тоном начал расспрашивать меня, где я буду ночевать завтра и возьму ли отпуск, чтобы немного отдохнуть. Я не хотел, не мог говорить о себе и, извинившись, вышел, оставив их одних.

За обедом мы больше молчали, и вскоре, хотя было всего девять часов, миссис Найт объявила, что устала и хочет лечь. Она совершенно не умела притворяться и поэтому выпалила свое решение, как растерянная, смущенная школьница. Но я

не мог уделить ей много внимания. Мистер Найт собирался поговорить со мной по душам, и я был настороже.

Мы сидели в гостиной по обе стороны камина; мистер Найт закурил трубку, набитую лекарственным табаком, к которому из мнительности пристрастился еще много лет назад. Запах его ударил мне в нос, и я весь сжался от невыносимого напряжения, словно это ощущение, этот запах лекарственного табака был нестерпим, словно я никак не мог дожидаться, пока будет произнесено первое слово. Но когда он наконец заговорил, как всегда витиевато, подходя издалека, я был удивлен: вопрос, который он хотел выяснить до своего отъезда, был вовсе не интимного характера и касался аренды нашего дома.

Когда мы с Шейлой поженились, денег у меня не было, и мистер Найт дал нам необходимую сумму, чтобы заплатить за аренду дома на четырнадцать лет вперед; дом был снят на имя Шейлы. Прошло всего восемь лет, и теперь мистер Найт был озабочен тем, как выгодней поступить с практической точки зрения. По-видимому, после всего случившегося, уже не говоря о том, что этот дом слишком велик для одного человека, я не захочу здесь, жить? Будь он вправе советовать мне, он бы посоветовал отказаться от аренды. В этом случае нам следует принять необходимые меры. Поскольку он дал деньги не только мне, но и Шейле, то считает этот долг оплаченным, и, быть может, я найду разумным, как полагает он сам, в особенности учитывая то обстоятельство, что лич-

ные деньги Шейлы, согласно ее завещанию, перейдут ко мне, чтобы сумма, которую нам удастся возвратить после отказа от аренды, досталась ему?

Кроме того, сказал мистер Найт, не следует мешкать. С этим надо покончить, пока война не вступила в более активную фазу; никто не знает, что произойдет через несколько месяцев, и любое недвижимое имущество в Лондоне может оказаться весьма неходким товаром.

Я всегда считал мистера Найта одним из самых загадочных и самых скользких людей, но такого поворота не ожидал даже от него; никогда еще он не проявлял такой практической сметки. Я пообещал через несколько дней выехать из дома и передать его в руки агентов.

– Не хотелось бы взваливать на ваши плечи и эту заботу, – сказал он, – но у вас широкие плечи... в некотором отношении.

Он умолк в нерешительности, словно не зная, завидовать мне или пожалеть меня. Я на него не смотрел, я не отводил глаз от огня, но чувствовал на себе его взгляд. Потом он сказал спокойно:

– Она всегда поступала по-своему.

Я молчал.

– Она слишком много страдала.

– Мог ли кто-нибудь сделать ее счастливой? – воскликнул я.

– Кто знает? – ответил мистер Найт.

Он старался утешить меня, но мне было горько, потому что этот единственный крик вырвался у меня помимо моей воли.

– Да обретет она покой, – сказал он.

На этот раз его тяжелые веки поднялись, и он посмотрел мне прямо в глаза своим грустным и пронизательным взглядом.

– Позвольте кое-что сказать вам, – продолжал он, и слова стали срывать с его губ непривычно быстро. – Я подозреваю, что вы из числа тех, кто винит себя в чужих поступках. Человек есть человек, и он должен сознавать, как опасно не забывать плохое.

На мгновение голос его стал мягким, он явно любовался собой. И вдруг добавил резко:

– Прошу вас, не согнитесь под тяжестью этой вины.

Я не хотел и не мог открыть ему душу. Я взглянул на него, словно не понимая.

– Я говорю, о том, что вы вините себя в смерти моей дочери. Не позволяйте этой вине вечно давить вам на плечи.

Я что-то пробормотал. Он предпринял еще одну попытку:

– Как человек тридцатью годами старше, я могу сказать вам одно: помните, что время залечивает почти все раны, лишь само оно уходит безвозвратно. Но залечивает только в том случае, если вы сумеете сбросить со своих плеч бремя прошлого, если вы заставите себя поверить, что у вас есть жизнь, которую вы должны прожить.

Я смотрел в огонь и ничего не видел; по комнате снова поплыл запах лекарственного табака. Мистер Найт замолчал. Я подумал, что сейчас он уйдет.

Я сказал что-то о сдаче дома внаем. Но мистер Найт больше не интересовался деньгами; раз в жизни он попытался говорить откровенно – настоящее испытание для такого скрытного человека, – и это ни к чему не привело.

Мы сидели рядом еще много минут: их отбивали мерным тиканьем часы, и это был единственный звук в тишине комнаты. Когда я посмотрел на него, лицо его было потухшим и несчастным. Наконец, после довольно долгого молчания, он заметил, что нам тоже пора ложиться. Подойдя к лестнице, он прошептал:

– Если подниматься не очень медленно, то это немалая нагрузка на сердце.

Я предложил ему опереться на мою руку, и он стал осторожно, с трепетом переступать со ступеньки на ступеньку. На площадке он отвел глаза от двери, за которой лежало ее тело.

И снова прошептал:

– Спокойной ночи. Попробуем уснуть.



## 13. Нетронутая постель

На третью ночь, ничего не чувствуя и не ощущая, я вошел в спальню и зажег свет. С полнейшим безразличием снял покрывало со своей постели, потом взглянул на ее постель, аккуратно, без единой морщинки, застланную покрывалом, светло-зеленым в свете лампы; постель была не тронута с тех пор, как ее застелили четыре дня назад. И вдруг боль утраты потрясла меня, как судорога. Я подошел к ее постели и провел руками по покрывалу; слезы, которых я не смог пролить, давили изнутри на веки, стиснутые в неистовом припадке горя. Наконец-то оно овладело мною. Постель была без единой морщинки в свете лампы. Я опустил перед ней на колени, и волна за волной безумное горе затопило меня, заставляя хватать это мирно поблескивавшее в свете лампы покрывало, скручивать его, царапать, делать все, чтобы испортить, смять ее постель.

И вдруг между приступами горя я почувствовал странное облегчение. На будущей неделе нам предстояло пойти на обед к нашим друзьям. Будь она жива, она бы волновалась, требовала, чтобы я придумал какой-нибудь предлог, позволявший ей остаться дома, как мне приходилось делать уже не раз.

Затем отчаяние снова овладело мною. Я с горечью понял, что впереди уже ничего не будет; все было здесь, в это мгно-

вание, сейчас, возле ее постели.

В этой душевной опустошенности я понял, что единственным утешением в такой утрате может быть мечта встретиться вновь в ином мире. Мой разум отказывал мне в этой иллюзии, в малейшей надежде на это, и все же я страстно зывал к ней.

# **Часть вторая**

## **СОБСТВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ**

### **14. Беру почитать книгу**

За окном, нежась в лучах сентябрьского солнца, два старика сидели в шезлонгах и пили чай. С моей кровати, которая стояла в палате на первом этаже одной из лондонских клиник, была видна часть сада до клумбы хризантем, пламенеющих в тени, позади стариков. День был тихий, старцы попивали свой чай с умиротворенностью не оставленных без присмотра инвалидов; и мне было покойно лежать и смотреть на них, не испытывая боли. Правда, Гилберт Кук вот-вот принесет мне работу и к четвергу я должен быть на ногах; но, собственно говоря, я был совершенно здоров и мог лежать и бездельничать еще целые сутки.

Был вторник, а я лег в клинику в субботу днем. В течение двух лет после смерти Шейлы (шел сентябрь 1941 года) мне довелось быть на ногах больше, чем когда-либо в жизни, и боль в пояснице редко отпускала меня. Ко всему, в ближайшее время мне предстояло еще больше работы, а участвовать в заседаниях полулежа на диване, как бывало в особенно плохие дни, далеко не шутка. Кроме того, мой авторитет

поневоле падал: в любом деле люди как-то меньше доверяют больному человеку. Поэтому я освободился на три дня, и доктор решил испробовать на мне новый способ лечения под наркозом. Хотя я в него не верил, оно как будто помогло. В ожидании Кука в тот день я молил судьбу пожалеть меня и избавить от боли.

Гилберт Кук вошел в сопровождении молодой женщины и буркнул что-то, представляя ее мне, но я не расслышал ее имени. Собственно, я сообразил, что не уловил его только спустя несколько минут, потому что сейчас же взял у него бумаги, помеченные «срочно», и углубился в чтение. Из вежливости мне пришлось переспросить. Маргарет Дэвидсон. Я вспомнил, что он уже упоминал о ней; это была дочь того самого Дэвидсона, о котором он говорил на Барбаканском обеде, и я еще тогда удивился, что Гилберт его знает.

Я взглянул на нее, но она отошла к окну, чтобы не мешать нам разговаривать.

Гилберт стоял у моей кровати, держа в руке пачку бумаг и забрасывая меня вопросами.

— Что они с вами делают? Сможете ли вы наконец появиться в приличном обществе? Вы понимаете, что должны пробыть здесь до тех пор, пока не станете снова человеком?

Я сказал, что примусь за свои обязанности в четверг. Об этом не может быть и речи, ответил он. А когда я объяснил ему, что намерен делать в тот день, он возразил, что, уж коли я настолько глуп, чтобы прийти на работу, все равно дей-

ствовать следует иначе.

– Не всегда же это будет сходиться вам с рук, – сказал он, тыча в меня большим пальцем, словно предостерегая.

Он стоял передо мной ссутулившись, полнокровное лицо его помрачнело. С тех пор как он пришел ко мне в отдел, он проявлял суетливую, почти материнскую заботу о моем здоровье и поэтому стал еще более бесцеремонным. Он разговаривал со мной с горячностью завязтого спорщика, как говорил, бывало, с Полем Лафкином. И делал это по той же причине: считал, что я добился успеха.

Работая под моим началом уже почти два военных года, Гилберт был свидетелем моего продвижения по службе и чутко прислушивался ко всяким закулисным разговорам. Он преувеличивал мои заслуги и то, что о них говорили, но, сказать по правде, я действительно завоевал определенную репутацию в этих могущественных, недоступных людскому взгляду сферах. Отчасти мне просто повезло – человек, столь близкий к министру, как я, невольно был на виду; кроме того, я действительно весь отдался работе, ибо жизнь моя, впервые с тех пор, как я стал взрослым, упростилась, ни о ком не приходилось заботиться и никакие тайные волнения не отвлекали меня.

Гилберту, который пришел в мой отдел вскоре после смерти Шейлы, я казался теперь важной персоной. Поэтому за глаза он стойко и смело отстаивал мои интересы, а в глаза говорил со мной весьма дерзко.

В четверг нам предстояло решить очередную проблему безопасности. В одном из «секретных подразделений» в то время несколько человек работали над проектом, в который никто из нас не верил; но они ухитрились окружить свою работу такой тайной, что вышли из-под нашего контроля. Я знал об их проекте, и им это было известно, но говорить со мной они не желали. Я сказал Гилберту, что мы можем потешить их самолюбие, стоит нам лишь проделать своего рода торжественный обряд: их попросят доложить свой проект министру, от чего они не могут отказаться; затем он расскажет все это мне, а в четверг мы с ними сможем хоть намекнуть друг другу на эту тайну.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.